

Цыганская сага



Анастасия
Туманова



**Звезды
над
обрывом**



Цыганская сага

Анастасия Туманова
Звезды над обрывом

«Автор»

2020

Туманова А.

Звезды над обрывом / А. Туманова — «Автор»,
2020 — (Цыганская сага)

ISBN 978-5-699-68133-4

Актриса цыганского театра, блистательная Нина Молдаванская, замужем за сотрудником ГПУ. Любовь Максима Наганова проверена временем и испытаниями, Нина счастлива с ним. Со своей кочевой роднёй артистка не виделась много лет. Но в голодном 1933 году со всей России в Москву стекаются тысячи цыган – кузнецы и гадалки, лошатники и попрошайки, бандиты и мирные котляры... Руководство ГПУ принимает решение очистить сталинскую столицу от «кочевого элемента». Разработка операции поручена мужу Нины. И, уезжая из Москвы на гастроли, актриса даже не догадывается, какая угроза нависла не только над кочевыми цыганами, но и над её подросшими дочерьми...

ISBN 978-5-699-68133-4

© Туманова А., 2020

© Автор, 2020

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	22
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Анастасия Туманова

Звёзды над обрывом

Глава 1

Голодуха

Жара. Жгучее солнце, марево над пустой дорогой. Слепящие меловые холмы. Тоскливые крики канюков под облаками. Июльская степь выгорела почти добела, и полёгший ковыль был похож на длинные седые волосы, прядями лежавшими на пересохшем темени земли.

Босые ноги мерно шлёпали по дороге. Качался над ними обтрёпанный, запылённый подол юбки. Пустая торба не тёрла плечо, и Мери привычно, почти без горечи думала: опять всем сидеть голодными...

– Идите в табор, вам сказано! На что вы мне там? – сердито бросила она, слыша за спиной шлёпанье детских ног.

– Нет, мы с тобой! – упрямо сказала Нанка, отбрасывая со лба мокрые от пота волосы. В свои десять лет она была неутомима на ногах, как любая цыганская девчонка. Мишка, её брат, не стал даже тратить слов. На его лице серым налётом лежала пыль. Чёрные отцовские глаза из-под сросшихся бровей блестели упрямо.

– Шли бы в табор! – в который раз сказала Мери. – Набегаются – есть захотите! А взять негде! И в больнице той тоже ничего не найдём... кроме покойников.

Нанка молча перекрестилась. Мишка дёрнул плечом.

– Не хочу, чтоб ты туда одна шла, – сердито сказал он. И, не тратя лишних слов, стал смотреть на крошечного орла, парящего в небе.

«Весь в отца», – подумала Мери. Вслух же сказала:

– Ну, ума нет – тогда терпите!

Стояло лето голодного 1932 года.

Минувшей зимой в деревне под Смоленском, куда табор обычно приезжал на зимний постой, была такая бескормица, что цыгане не спали по ночам, дежуря в конюшнях и справедливо опасаясь, что голодные люди сведут и съедят их лошадей. В округе давно ни у кого не осталось ни коров, ни свиней. Даже собаки с кошками пропали с улиц. Кое-где уже ловили и варили крыс. На цыганских лошадей смотрели с вожделием. К таборным то и дело приходили деревенские. Предлагали за лошадей золото, смотрели просительно. Цыгане в ужасе отказывались:

«Да ну вас, мужики! С ума, что ли, походили?! Лошадь съесть – всё равно что человека!»

«Погодите, скоро и до этого дойдёт,» – печально обещали деревенские.

В самом начале весны появились агитаторы: решительные, молодые, в потёртых военных гимнастёрках. Их речь в кругу растерянных цыган звучала бодро и напористо:

– Вот что, граждане кочевники, хватит вам по дорогам шляться! Надо жить как люди, работать, детишек учить. Это раньше до вас никому дела не было, а сейчас советская власть о любом человеке думает! Оставайтесь. Вступайте в колхоз. Ссуды вам дадим под строительство, дома поставите – а не эти ваши палатки рваные! Работать будете! Школа в селе есть, осенью приведёте детей. Надо по-человечески жить учиться, работать со всеми, страну поднимать!

– А как же, товарищ... Мы обязательно! Мы и сами понимаем... – осторожно соглашались цыгане. – Ссуда – это хорошо... Дома, значит, дадите? Ну что ж, порядок есть порядок, пишите нас в свой колхоз...

Той же ночью табор тихо снялся с места. Всю ночь, чертыхаясь, гнали коней по раскисшей дороге, на всякий случай впотьмах свернули с большака на едва заметный просёлок – и к утру оказались в тридцати верстах от гостеприимного колхоза.

– Слава тебе, господи, вырвались! – радовался муж Мери, нахлёстывая лошадей. – Совсем рехнулись со своими ТОЗами¹-колхозами... Это ж додуматься надо – цыган на землю сажать! Своих-то мужиков уже умучили – видать, мало им! Бог спас, вовремя мы сбежали! Осенью вернёмся – авось, надоест им, успокоятся...

– Думаю, не успокоятся, – грустно отозвалась Мери. – Это же сейчас повсюду. Под Витебском сразу четыре табора в колхозы загнали! И не уговаривали даже, как нас, – а прямо сразу сказали, что лошадей отберут! Бумагу показывали! Напугали до смерти – цыгане и согласились!

– Так что же делать прикажешь, учёная моя?! – расвирипел Семён. – Честь гаджам² отдать и строим в хаты жить идти? Давай, говори, раз опять умнее всех!

– Не знаю, – медленно сказала жена. – Сама не знаю, Сенька.

Семён покосился на неё, вздохнул. Чуть погода, не отводя взгляда от лошадиных спин, сказал:

– Не сердись. Ты, верно, права... Только ведь вечером наши ко мне опять приставать начнут! «Что делать будем, морэ? Куда поедем? Что у гаджей в головах, чего они к нам пристали?» И будут за мной по табору ходить, как гусята за гуской! И что я им говорить должен?!

Мери, вздохнув, только пожала плечами.

К счастью, весна выдалась ранняя и дружная. Снег сошёл в три дня. Копыта лошадей разбивали голубые лужи на дорогах, отовсюду лезла молодая трава – и цыгане, отъехав от Смоленска, слегка приободрились:

«Не может же быть, чтобы повсюду голод был! В Смоленске-то часто так... Неурожай, и всё тут! Сидят, кулаки сосут! А на Дону, у казаков, завсегда хлебно! Даже в самые худые годы, когда война была, свой кусок цыганки добывали! А сейчас ведь и войны нету никакой! Доедем до станиц – отъедемся! Может, хоть там эту глупость – колхозы-то эти ихние – не выдумали ещё?»

Мери, слыша эти разговоры, помалкивала. Но Семён всегда знал, что означает эта тревожная морщинка между бровей у жены. Вечером, когда Мери, сидя у костра, доваривала суп из молодого щавеля, муж вполголоса спросил:

– Думаешь, и в станицах худо будет?

– Думаю, что да, – Мери не поднимала глаз от булькающего варева. – В газетах ведь только и пишут про коллективизацию...

– То есть, не наиграются никак твои гадже? – хмуро уточнил Семён. – Чего им надо-то, вот растолкуй хоть ты мне? Ведь только-только налаживаться всё стало! Меришка, ты же учёная! Гимназью заканчивала! Знать должна!

– Сенька, но откуда же мне знать? Гимназию мою он вспомнил, боже мой... В газетах разве правду напишут? Хотят, чтобы большие хозяйства были, чтобы легче людям работать...

– Чего? Легче?! – взорвался Семён, и сразу несколько человек повернулось от соседних шатров. Мери испуганно взмахнула ложкой. Муж сразу же успокоился, шумно вздохнул, махнул рукой. Помолчав, проворчал:

– У богатых гаджен хозяйства большие, крепкие, земли много запахивают – так приходят и отбирают всё! Такого ведь даже и при царе не было! Отбирают, по другим людям раздают! А толку нет! Целые деревни с голоду мрут!

¹ ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли. Форма коллективного хозяйства, предполагающая добровольное обобществление земли и труда при сохранении личной собственности на средства производства.

² От «гадже» – нецыгане

– Да ты мне-то хоть не рассказывай, – грустно сказала Мери, снимая котелок с огня. – Иди сюда, поешь. И не заглядывай в котёл: нет там ничего путного! Шесть деревень с девками обошли сегодня – и без толку! Ни хлеба, ни сала, ни курёнка, ни мышонка! Гадже злые, гонят нас... Брашка наша в один двор сунулась – так баба на неё из избы выскочила! Худая, страшная, кости друг о дружку стучат – да как кинется на Брашку с топором! И не кричит, а только рот разевает, – а во рту ни единого зуба! Брашка, бедная, чуть богу душу с перепугу не отдала! Мы всемером едва её отбили от той ведьмы! Нечего взять у них, Сенька, совсем нечего... В другой деревне в хату захожу – а все по лавкам лежат. И будто не люди, а просто сухие палки сложены! Смотрят на меня, глазами водят и ничего не говорят! Я покрутилась, да и вон! Нету ничего... Весна, пахать, сеять надо – а люди с полатей встать не могут!

– Не вой, – сквозь зубы сказал муж, прихлёбывая ложкой горячую зеленоватую жижу. – Авось проскачем как-нибудь через это. И прежде голодуха случалась, так выбирались же как-то! Щавель уже вырос, травка всякая... Скоро ягоды пойдут... Детей-то покормила ты?.. Эй! Это... что такое в котле плавает?!

– Рыба! – усмехнулась Мери, поглядывая на сына, который с довольной улыбкой сидел у края шатра. – Мишка наш натаскал из речки, пока мы с Нанкой по деревням бегали! Я почистила да в котёл кинула: пусть курицей прикидывается!

Семён невольно ухмыльнулся, – и лицо жены сразу просветлело.

– Ладно, Сенька... Цыгане мы. И не такое переживали. Поглядим...

С каждым днём становилось всё теплей. Дни стояли долгие, ясные. Солнце целыми днями висело над степью, золотя спины таборных лошадей. По сторонам дороги тянулись поля. Цыгане, которые ездили здесь каждый год, с удивлением крутили головами. Те уголья, которые каждый год в это время уже были аккуратно вспаханними, взбороненными и засеянными, сейчас напоминали старое, рваное, кое-как заштопанное лоскутное одеяло. Где-то было запахано – но брошено без бороны, и чёрные отвалы земли пересыхали под горячими лучами. Кое-где поля топорщились прошлогодней стернёй. Местами не было даже жнивья – просто лежащая на земле, перезимовавшая неубранная рожь. Где-то всё же было засеяно, – но вместе с рожью из земли решительно поднимались целые колонии пырея и сурепки.

– Вовсе ума мужики лишились? – недоумевали цыгане, косясь по сторонам. – А мы-то думали – только в Смоленске такое...

В деревнях, куда цыганки бегали гадать, рассказывали страшное и непонятное. Из знакомых богатых домов пропали прежние хозяева. Целые сёла стояли опустевшими. Поля зарастали сорняками, неокученная картошка умирала в окаменелой почве. В одном селе изумлённые цыгане увидели ряды красноармейцев, занятых прополкой могучих сорняков, выросших в картофельных полях. Цыганки, со времён Первой Мировой уверенные, что где армия – там и еда, радостно кинулись к ним. Давний опыт не подвёл: женщинам удалось разжиться и крупой, и сухарями, и даже салом – но новости оказались невесёлыми.

– Работать некому, говорят! – вернувшись в табор, рассказывали цыганки мужьям. – Мужики из деревень в город бегут! И семьи с собой волочат! В городах, говорят, работы много, стройки повсюду, хоть куда-то воткнуться можно и детей кормить, а в деревне вовсе худо!

– Зачем это нужно, Меришка? – в который раз изумлённо спрашивал Семён у жены. Мери только пожимала плечами. Ответить ей было нечего. Когда табору случалось останавливаться на окраинах городов, она отыскивала в скверах и на площадях старые газеты. Но из трескучих, натужно радостных газетных заголовков ничего нельзя было понять.

«Они скрывают... – в смятении думала Мери, читая восторженные строки «Правды» и «Известий» о том, как дружно и весело советские люди объединяют свои хозяйства, о плане пятилетки, о том, что кулакам и единоличникам не место в советском строю... – Они скрывают от людей правду... Но как же можно это скрыть?! Ведь уже голодают... И дальше будет только хуже!»

Через месяц оголодавший табор на исхудалых лошадях дополз-таки до донских степей. Но оказалось, что у казаков в станицах житьё не лучше, чем у мужиков на Смоленщине!

– Хлеб отбирают! – шёпотом жаловались цыганкам знакомые казачки. – Всё отбирают, и не только продналог, а вовсе... Подчистую, до зёрнышка с базов выносят! С щупами вокруг хат ходят, ямы ищут! Девять семей со станицы вывезли, кулаки – говорят! Вывезти – вывезли, а работать-то кому?! Голота только глотки драть на майдане умеет, этому их учить не надо... а на чужой земле кто пахать будет? Нынче вспашешь, а завтра и отберут всё снова! Власти говорят – в город надобно хлеб везти, там потреба... А у нас здесь, стало быть, пусть дети с голодудохнут?! За зиму весь хлеб, какой на сев был, поели: сеять нечего! Скотину пожрали всю: ни котёнка на базу не сыскать! И вот только вас тут нам недоставало! Подите, вороны, с базу: нет для вас ничего! А не хотите – не ходите, пупырь вам под юбки! Бегите вон, шукайте, лазьте по каморам: пусто всё! Коли мыша последнего словите – поделитесь по-христьянски!

– А как же сеять-то, золотенькая? – растерянно спрашивали цыганки. – А как же эти колохозы ваши? Земля вся непаханая стоит, как же дале-то?

Но при упоминании «колохозов» казачки переходили на надрывный крик и выгоняли перепуганных гадалок со дворов.

Вечером старшие цыгане собрались на сходку. Степенные, бородатые мужики сидели на траве, молча, хмуро поглядывая друг на друга. Перед ними на чистой скатёрке лежали последние сухари, блюдце с солью, несколько сморщенных луковиц – всё, что оставалось в таборе. Семён, который на сходке был самым молодым, вертел в губах соломинку, поглядывал на деда. Старый Илья молчал, смотрел в землю. Сухой и тёплый степной ветер шевелил его густые, с сильной проседью кудри, надувал синюю, в мелкий горошек, рубашку. Глаза старик поднимал лишь для того, чтобы взглянуть на лошадей, бродивших по брюхо в траве в ложбинке у шатров. Солнце падало за меловую гору, золотым мостом лежало через широкий, медленно текущий Дон. С песчаной косы слышались детские крики: цыганята ловили рыбу. Дымки костров поднимались к блёкнущему небу, но не слышно было ни громких голосов, ни песен: цыганки ждали, чем кончится сходка.

Молчание затягивалось: все смотрели на деда Илью.

– И нечего на меня тарашиться! – мрачно заявил тот. – Сели, носы протянули, уставились... Не знаю, чявалэ³, что делать! Не знаю – и всё! Не помню, чтоб такое было! И отец мой не помнил, и дед! И допрежь бескормица случалась – да не такая! И не здесь!

Слово самого старшего было сказано – и разом заговорили все:

– Ехать-то куда будем? Прежде-то как?.. Ежели у мужиков голод – так у казаков всегда прокормиться можно! И хлебно, и рыбно, и сало с курями... и кони-то, кони! Ух, как меняли! А скупали как! Казаки-то не хуже цыган в конях всегда понимали, с ними и барышничать одна радость была! Помните, как мой дядька Кашуко ихнего атамана нагрел, когда коня продавал?! Сутки напролёт коня латошили! Кажну шерстиночку перещупали, спать друг дружке не давали, орали так, что к утру один сип остался... И ведь атаман-то первым спёкся! Взял у дядьки коня, хлопнули по рукам, магарыч выпили... а к вечеру глядь – у коня кила вывалилась! Атаман как увидел – сам чуть не лопнул! Бегом к дядьке скандалить! А дядька вышел со всеми нами, сам со смеху умирает, а вида не кажет! И говорит гаджу...

– Да ну тебя с твоим дядькой! И с атаманом тоже! Где он теперь, атаман-то этот? Ежели в войну не положили, так теперь в Сибирь угнали! Делать-то что будем, ромалэ?

– А что поделаешь? Теперь ни хлеба, ни коней – одни колохозы! Растопырились повсеместно и с голоду околевать людям назначили! Может, у советской власти заданье такое – всех поскорей переморить и...

³ ребята

– ...и тебя, дурака, комиссаром назначить! По хлебу и по лошадям наиглавным полно-подмоченным!

– А хорошо бы, ребята, а?.. Ух, как бы весь табор у меня ожохла!

– Тьфу, дурни вы! Только бы ржать, а брюхо пустое! Может, в Бессарабию податься?

– Да иди ты!.. В Бессарабию! Вон, кастрюльщики⁴ оттуда табунами тикают! Тоже, поди, не от сытой жизни!

– Вот пустая башка, они не потому! Не ври, чего не знаешь! У моего брата женину племянницу взапрошлогодь за котляра отдали, так я про них всё теперь знаю! Они оттуда в Россию едут, потому что у них положено золотом за невесту платить, а здесь такого нет!

– Сам дурак! Здесь им всё то же самое! Они ж своих девок берут, котлярок! Наши-то, бесплатные, им не надобны! За своих и платят – по десять монет золотом! Кто за кастрюльщика-то дочь отдаст из наших? Только твой брат и додумался! Видать, вовсе больше девку сунуть было некуда, а...

– Что-что-что-что ты про моего брата сказал, морэ⁵?!

– Хватит!!! – рявкнул, наконец, дед Илья так, что цыгане умолкли и опасливо усталились на старика. – Хужей бабья разорались, спасу нет слушать! Для дела собралась – а они опять галдёж подняли! Коли говорить не о чем – так чего я с вами тут сижу?! У меня вон бабка водичку с солью сварила – пойду похлебаю, дымком занюхаю да спать! Авось во сне сало при-снится!

– Да как же говорить-то не о чем? – смущённо отозвался кто-то. – Есть-то хочется! Только как же быть? В самом деле, в Бессарабию, что ль? Так ведь не ездили туда никогда... Ни мы, ни отцы, ни деды наши.

– И я не поеду! – свирепо отозвался дед Илья. – Был я в Бессарабии вашей! И в Крыму был! Ничего хорошего, там дураки – и здесь дураки! Отродясь бессарабцы богаче казаков да хохлов не жили! И уж коли здесь – худо, то там – втрое! Ну, что вы на меня глядите? Говорите, коли умные, – что делать будем?!

Спорили долго. Орала до хрипоты, поминали бога, чёрта и всю родню, предлагали ехать назад в Смоленск («А вдруг там уже закончилось?»), в прикаспийские степи («Может, там и не начиналось?»), в Астрахань («Там рыба!!!») и даже в Сибирь («Покуда туда колхозы доберутся, уже, глядишь, Страшный суд настанет!»). Дед Илья молчал. Щурясь, смотрел на то, как скрывается за краем горы красное солнце, как гаснет степь, затягивается туманом ковыль и исчезают в нём матовые от росы конские спины. Над палатками поднялся молодой месяц, подёрнул голубоватым светом крылья цыганских палаток. Послышался плач ребёнка, тревожный голос матери. Цыгане разом замолчали, услышав его. Кто-то вполголоса сказал:

– Пусть Сенька Лоло скажет.

И тут стало совсем тихо. Дед Илья незаметно усмехнулся в усы. Взглянул через угли костра на внука. Семён поднял голову.

– Зачем мне говорить? Здесь постарше люди есть.

– Все уж сказали, тебе теперь! – нетерпеливо крикнул кто-то. – Давай, морэ, ждём, что скажешь! Твои красные всё вот это наворотили, – думай, как разверчивать!

– Как ты мне надоел, дядя Ваня! – сдержанно, без обиды улыбнувшись, ответил Семён. Месячный свет блеснул в его больших, чуть раскосых глазах. – Вы хотите знать, зачем гаджам это сдалось? Гадже города поднимают. Заводы строят. Реки плотинят. Им деньги туда нужны, хлеб туда нужен.

– А в деревнях люди хай подохнут? А мы?!.

⁴ Кастрюльщики – насмешливое прозвище «котляров» – румынских цыган (самоназв. – кэлдэраря), занимающихся изготовлением медной посуды.

⁵ друг

– А что «мы»? Думаешь, у начальства только и мысли должно быть – как там цыган дядя Ваня в своём таборе живёт? Не нужно ль чего? Не отощал ли? Дочке свадьбу играть не пора ли? А то, может, кони хромают?

Семён говорил это с наисерьёзнейшим лицом, спокойно, даже озабоченно. И цыгане на минуту притихли – а затем грохнули хохотом. Усмехнулся, сверкнув зубами, и Сенька.

– Нас покуда не трогают, и ладно. Только цыгане всегда туда коней гнали, где прокормиться можно. Раньше здесь, на Дону, самые прибытные места были. Теперь вот по-другому сделалось. Стало быть, надо оглобли заворачивать. Вы сами видели: сеяться уже поздно, а гадже и пахать не начинали. Целые поля сорняками позаросли. Это значит, в будущем году ещё хуже станет.

– Куда ж ещё хуже-то?.. – испуганно пробормотал дядя Ваня, оглядываясь на цыган. Те подавленно молчали. Дед Илья смотрел в землю, сжимая в зубах черенок трубки так, словно собирался его откусить.

– Станет хуже, – повторил Семён. – И нам тут делать будет нечего. Если вам моего слова надо – то, по мне, лучше ехать к Москве. Туда сейчас и хлеб идёт, там и работа есть, и мы со своими конями не лишними будем. На любой стройке кони с телегами нужны. Ежели бабы уже табор прокормить не могут – значит, пора мужикам впрягаться. Всегда так было. Я, чявалэ, сказал, что думаю, – а вы решайте.

В свой шатёр Семён вернулся уже за полночь. Дети давно спали у погасших углей, расстелив старую перину и поделив подушки: синюю в красный горох и зелёную в жёлтых огурцах. Между Мишкой и Нанкой сопели младшие. Семён некоторое время стоял около них, переводя взгляд с тонкого личика дочки на грубоватую, резкую, «смоляковскую» рожицу сына, с длинных Нанкиных кос на встрёпанные, густые кудри Мишки.

«Нет, они у меня с голоду не помрут! Что угодно сделаю, на любую стройку наймусь, хоть на каторжные работы... но эти живы будут!»

Он знал, что Мери не спит, ждёт его. За пологом царила тишина, но стояло Семёну откинуть край потёртой занавеси и войти, как жена сразу же поднялась на локте.

– Ну? Что решили?

– Поворачивать к Москве будем, – Семён стянул сапоги, лёг рядом. – Я им всё сказал, как ты говорила. Как в газетах прописано. Что в город надо ехать, что там теперь и хлеб, и работа лошадная есть...

– Выдумал! Ничего я тебе не говорила! – сердито запротестовала Мери. – Что я такого сказала, чего ты сам не знал?

Семён усмехнулся в темноте. Наощупь притянул к себе жену.

– Меришка!

– М-м?..

– Тебе к своим гаджам назад не хочется?

– Ка-ак же ты мне надоел... – простонала Мери, и Семён чуть не рассмеялся, вспомнив, что той же фразой ответил сегодня дяде Ване.

– Сенька, ну вот будет мне сто лет! Вот буду помирать... старая, страшная, скукоженная... и ты меня за минуту до конца всё равно спросишь: «Когда к своим пойдёшь», да?!

– Не будет тебе сто лет, – проворчал Семён. – И я, между прочим, вперёд тебя помру! Сама у меня и спросишь, что захочешь...

– А вот и нет. Я без тебя тут не останусь. Первая помру, и всё тут!

– Это ты что – с мужем споришь? – притворно рассердился он. – Тоже мне, цыганка! Как я сказал – так и будет, а не то!..

Мери тихо рассмеялась. Из темноты блеснули зубы, белки глаз. Улыбнулся и Семён. Вся тяжесть, вся тревога последних дней разом пропали куда-то. И даже голод, постоянный спутник, нырнул на дно пустого желудка – и сухой горошиной затаился там.

«И плевать! Не пропадём! Не цыгане, что ли? – думал Семён, зарываясь лицом в тёплую грудь Мери, теряя разум от её запаха – медового, сладкого... – Выедем... И детей поднимем! С такой-то, как Меришка, – куда угодно, хоть к чертям на вилы...»

Вскоре он уже спал, уронив встрёпанную голову на плечо жены и что-то невнятно бормоча во сне. Мери тихо поглаживала волосы мужа, глядела в прореху на искрящееся звёздами, далёкое небо. Слушала, как осторожно, чуть слышно свистят в степи суслики и отзывается им с реки какая-то ночная птица. От реки уже тянуло предрассветным свежим ветром. На ткани старого шатра чуть заметно обозначились тени.

«Скоро подниматься... – погружаясь в дремоту, думала Мери. – Нужно в Бескорбную, в больничку сходить. Может, хоть там кусок какой выпросить? До Москвы, хочешь-не хочешь, есть что-то нужно.»

И вот сейчас Мери шла по дороге, привычно шлёпая по горячей пыли босыми ногами. За спиной, привязанный широкой, выгоревшей на солнце шалью, спал грудной Илюшка. Сзади шагали Мишка и Нанка. Другие цыганки в больничку идти отказались:

«Какие больнички, Меришка, брось! Пошли лучше на хутора! Нас там знают, каждый год ждут, пошли! Охота тебе такого крюка давать!»

Но Мери всё же решила добежать до знакомого места, где в прошлые годы ей так хорошо подавали.

«В крайнем случае, в балку за станицей спущусь! Там прежде стрепеты гнездились, Мишка яиц наберёт... Да хоть бы ежа какого-нибудь поймать – и то хлеб!»

Больница – жёлтое длинное здание, выстроенное ещё при царе и с тех пор не знавшее ремонта – стояла на краю станицы, на обрыве, в зарослях краснотала и буйно разросшихся мальв. Рассохшиеся ворота были не заперты.

Войдя на больничный двор, Мери огляделась. Кругом было пусто. Тихо. С края колодца-журавля, заполошно хлопая крыльями, взлетела голубая сизоворонка. Двор густо зарос пыреем, серебристой полынью.

– Эй, есть кто живой?

Никто не отозвался. Мери стало жутковато. Она позвала детей, велела им идти в балку искать птичьи гнёзда – и, оставшись одна, поднялась на крыльцо.

Через полчаса стало ясно, что больница совершенно пуста. В пустой сестринской было настежь распахнуто окно, и целая горка рыжеватой степной пыли выросла на шкафчике с медикаментами. Замок на шкафчике был простой, Мери без труда вскрыла его гвоздём и обрадованно ахнула: склянки с йодом, бутылка спирта, камфора, скатки бинтов и вата были невредимы. Всё это очень могло пригодиться в таборе, и Мери набрала полную торбу больничного добра.

«Как же это никто не взял, раз всё открытое стоит?» – подумала она, выходя за дверь. Пробежала по пустому гулкому коридору, заглянула в кухню. Там, в отличие от сестринской, было подчищено всё до крошки: Мери не нашла ни зёрнышка, ни куска сухаря. Вздохнув, она решила на всякий случай обойти палаты.

В трёх больших, просторных комнатах не было ни души. Стояли голые койки, с которых кто-то снимал и унёс подушки и одеяла. В открытые окна ветер заносил пыль и сухие семена.

«Ну и ладно... Хоть йодом разжилась, и то хорошо! – успокаивала себя Мери. – Вот девки-то смеяться будут! Принесу к вечеру в табор пять яиц стрепетовых – да йода со спиртом! Наверное, и врачи, и сёстры от голода уехали. А в больнице и лежать некому: все по хатам с голоду мрут. Скорее, скорее возвращаться надо!»

– Пхэнори⁶...

⁶ Пхэнори – сестрица

Чуть слышный голос, послышавшийся из-за полуприкрытой двери, был так похож на шелест листьев за окном, что Мери не сразу обратила на него внимание. И уже успела пройти мимо, когда за спиной раздалось вновь:

– Пхэнори-и...

Вздвигнув, Мери обернулась. По спине ледяными коготками пробежал страх. Кто мог окликнуть её по-цыгански в пустой, брошенной больнице?..

«Ну что ты как дура?! – тут же выругала она себя. – По-цыгански позвал – свой, значит!» И, взявшись за медную, заросшую зеленью ручку двери, Мери решительно потянула её на себя.

Человек сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Мери сразу же поняла, что это цыган. Чёрные, курчавые, сильно отросшие волосы падали ему на глаза, смотревшие из-под вспухших век тупо, безразлично. Цыган был смуглый дочерна, чудовищно исхудалый: было видно, что он ничего не ел уже много дней. Острые скулы, как ножи, торчали из-под обветренной коричневой кожи. Потрескавшиеся, сухие губы чуть заметно шевелились.

– Боже, что ты здесь делаешь?.. – ахнула Мери, бросаясь на колени перед ним. – Из каких ты, брат?

Цыган не ответил. Закрыв глаза, снова откинулся на стену.

– Дай попить, сестрёнка... Сам не дойду. Вон... у дверей ведро...

– Сейчас! Сейчас! – Мери кинулась к дверям, подхватило ведро, на дне которого плескалась желтоватая затхлая вода, напоила умирающего из пригоршни, отчаянно жалея, что нет даже крошки сухаря, чтобы размочить... И сразу же, словно почуяв её мысли, цыган прошептал:

– Хлебца нет ли? Я не себе, не думай... Дочка вон... Аська... Поглянь – может, отмучилась уже?

Содрогнувшись от надежды, проскользившей в его голосе, Мери повернула голову.

Девушка лет пятнадцати лежала на койке с закрытыми глазами. Чёрные, густые, слипшиеся от грязи и пота волосы полураспущенной косой падали с казённой подушки. Мери приложила ухо к её груди, послушала.

– Она жива. Но почему вы здесь? Где все ваши? Мать её где?

– Ушла её мать. Давно тут одни. Все гадже уехали... и доктор... и сёстры... Помереть не хотели. Некого лечить... – Цыган умолк. Было видно, что каждое слово стоит ему страшных усилий, и Мери поняла, что не нужно его мучить.

Выбежав на залитый солнцем двор, она завопила во всю мочь:

– Мишка-а-а! Нанка-а-а! Идите сюда!

Через несколько минут истошных воплей на больничный двор влетели дети. Чумазая физиономия Мишки была сердитой донельзя:

– Мам! Ну что?! Все яйца бросить пришлось! А полтора десятка нашли, всю балку облазили! Что случилось?

– В табор бегите, сынок, – торопливо приказала Мери. – Скажите отцу: пусть запрягает, едет с телегой сюда! Люди здесь, цыгане! От голода чуть живы, вывезти надо!

Мишка молча выметнулся за ворота. Сестрёнка, подхватив юбку, понеслась следом. Мери вернулась в палату. Цыган сидел в той же позе, в какой она его оставила. Тяжело, шумно дышал, откинув голову.

– Не бойся, морэ, – мягко сказала Мери, садясь рядом с ним. – Сейчас мой муж приедет, заберём и тебя, и дочку твою. Поедем в табор к нам, всё хорошо будет. Как хоть тебя зовут?

– Лёшка, – хрипло ответил цыган. Несколько минут молчал, тяжело дыша и явно собираясь с силами. Мери, понимая, что он хочет что-то сказать ей, терпеливо ждала. Время шло. Горячий солнечный луч перемещался по дощатому полу. В нём плясали, роились пылинки. По подоконнику ползал, сердито гудя, толстый шмель.

– В могиле... зерно зарыто, – вдруг, не открывая глаз, сказал Лёшка. Мери невольно отшатнулась.

– Что?..

– В могиле, говорю... Там, на кладбище... под окнами прямо. Крест скособооченный... Мешки... Ты посмотри... Не уезжайте так, выкопать надо. Гадже прятали... Я сам видал... ночью...

Через час во дворе послышалось гроыхание телеги и встревоженный голос Семёна: «Меришка, ты тут?!» Муж приехал не один: на телеге сидели трое его братьев. Тут же были и Мишка с Нанкой.

– Ох, Сенька! Ой, ребята! Ох, как хорошо, что вы быстро так! – взволнованно говорила Мери, спеша впереди мужчин по больничному коридору. – Вот! Тут цыган! С дочерью! С голоду умирают! Надо увозить... а на кладбище зерно закопано! Так этот цыган, Лёшка, мне сказал!

– С голоду, наверно, свихнулся, – убеждённо сказал Семён, останавливаясь на пороге палаты. – Какое сейчас зерно? Да ещё на кладбище?

Лёшка вдруг открыл глаза. Хрипло, убеждённо, почти с ненавистью сказал:

– Есть! Есть! Сам видал... Заберите... Мне всё равно помирать, а вам...

– Не помрёшь, морэ, – Семён, наклонившись, поднял Лёшку на руки. – В таборе тебя на ноги поставим. Тьфу ты, кожа да кости... Жеребёнок месячный тяжелее, ей-богу! Надо же, что с голоду человеку блазнит! Хлеб ему под окном закопали! Чявалэ, подымайте девку, поедем... Меришка, что ты прыгаешь?

– Семён, ему не показалось! Ей-богу! Я, пока вас ждала, сбегала туда, палкой потыкала! Там мягкая земля! На самой могиле – твёрдая, а рядом – мягкая!

– Та-а-ак... – Семён посмотрел на братьев. Те ответили растерянными взглядами.

– Грешно покойника-то тревожить... – неуверенно сказал Ванька, оглядываясь на остальных. Но Семён не дал ему договорить, презрительно сморщившись:

– Да кто его тронет, покойника-то! Небось, не в самый гроб зерно положили! Умные мужики, знали, что на пустом кладбище кто искать станет? Пошли, взглянем!

Вооружившись лопатами, найденными в больничной каморке, цыгане осторожно спустились в кладбищенский овраг и принялись копать у могилы с накренившимся каменным крестом.

Земля была в самом деле мягкой, подавалась легко. Вскоре появился край брезента, а под ним – холщовый бок мешка. Цыгане ловко, быстро вытащили один, другой, третий мешок. Они были туго набиты, сухо шуршали.

– Четыре, – шёпотом сказал Семён. – Всё, ребята. Несём к телеге.

– А остальные? – жалобно спросил Ванька, глядя на оставшиеся в яме мешки. – Там ведь ещё столько же лежит, провалиться мне...

– Вот и оставим. У людей, поди, тоже дети. Греха на сердце не бери, нам и этого хватит! – Семён неожиданно усмехнулся, блеснув зубами. – Как раз до Москвы доехать и не околеть! Берись, морэ, понесли!

Мешки спрятали на дно телеги, присыпали сеном, набросали сверху тряпья. Яма после обыска сильно просела, и некоторое время Семён возился, маскируя её дёрном и сухими ветвями. Выскочив из оврага, скомандовал:

– Едем, живо! Сынок, а ты беги в табор, скажи деду и нашим всем: сниматься нужно!

Когда через полчаса телега подкатилась к табору, там уже всюю шли сборы: сворачивались шатры, бросались на телеги перины, подушки, котлы, нехитрый цыганский скарб. Дед Илья, уже управившийся с собственной палаткой, деловито суетился у шатра внука. Ему помогала старая Настя. Мишка и Нана носились, как всполошённые ласточки, стаскивая в кучу подушки и посуду.

– Нашли? – коротко спросил старый цыган.

– Четыре мешка пуда на три каждый, – подтвердил Семён. – Подальше бы отъехать, дед. Как бы не переубивали нас казаки за хлебушек этот!

За остаток дня удалось сделать вёрст двадцать. Солнце палило нестерпимо, от жары над дорогой висело переливающееся марево, но цыгане всю погоняли лошадей. Мери шагала рядом с телегой, то и дело поглядывая на Лёшку. Тот лежал неподвижно, запрокинув голову и до того походя на мертвеца, что Мери то и дело хотелось проверить: дышит ли он ещё. В соседней телеге везли его дочь, и сидевшая рядом на ворохе подушек Нанка то и дело успокаивающе махала матерью рукой.

«Почему они были в больнице совсем одни? – напряжённо соображала Мери, – Где другие цыгане? Почему оставили их тут умирать? Этот Лёшка сказал, что жена его ушла... Как же так? Как она могла уйти и бросить мужа? Да ладно ещё мужа – дочь родную! Хотя... Лёшка такой молодой, ему лет тридцать, не больше... А Аська совсем взрослая девушка! Она не может быть его дочерью... Но это – потом. Всё потом. Сейчас главное – чтобы выжили...»

К вечеру, наконец, остановились на берегу узенькой речонки – безымянного притока Дона. До ближайшего хутора было не менее пяти вёрст, а до станицы – все десять, но именно это неудобное обстоятельство пришлось сейчас очень кстати. Пока цыгане растягивали палатки и зажигали костры, Мери отыскала на берегу два плоских камня, хорошенько отмыла их, вытерла чистым полотенцем и добыла из мешка горсть пахучих пшеничных зёрен. Сходя с ума от хлебного запаха и едва удерживаясь от того, чтобы не заглотать их все в один присест, она растёрла горсть зёрен между камнями. Затем грубая мука вперемешку с отрубями посыпалась в котелок. Залив муку водой, Мери сняла всплывшие отруби ложкой и повесила котелок над огнём.

– Не многовато ль воды-то, дочка? – вполголоса спросил дед Илья, наблюдая за тем, как Мери размешивает варево ложкой. – Поболе положи, дети наголодались...

– Это не детям, Илья Григорьич, – Мери оглянулась на телегу. – Это Лёшке... и Аське. Им нельзя сразу густое, можно умереть.

Вскоре в котелке дымилась серая, жидкая-прежидкая затируха. Мери сняла варево с огня, перелила в жестяную миску, отнесла к реке – остудить. Вернувшись, села около Лёшки. Весело сказала:

– Эй, морэ! Открывай глаза! Сейчас есть будем!

– Дайте дочке... – Шелестом отозвался чуть слышный голос. – Мне не надо. Отхожу... Спасибо вам всем, поставьте Аську... На ноги поставьте... Ей жить надо... а я...

– И тебе надо! – с напускной бодростью перебила его Мери. – Не бойся: Аську твою и накормим, и на ноги поставим, и замуж выдадим! А ты на её свадьбе спляшешь! Ну-ка, давай, приподниму я тебя – и поедем! Погляди, какая кашка славная получилась!

Лёшка молчал, не шевелился. Подавшись вперёд, Мери вслушивалась в его отрывистое, частое дыхание, и на какое-то мгновение её кольнул испуг: поздно... Но в следующий миг цыган медленно, словно преодолевая боль, разомкнул пересохшие губы – и Мери ловко влила ему в рот ложку тёплой затирухи.

– Вот молодец! Вот брильянтовый мой! Ещё... ещё... и ещё! И хватит пока, не то впрямь помрёшь! Полежи, отдохни! Если всё хорошо будет – попозже ещё дам!

Лёшка откинулся на подушку. Его исхудалая физиономия вдруг исказилась такой мучительной grimасой, что Мери снова испугалась: слишком много съел, начались судороги... Но Лёшка лежал не двигаясь – и болезненная маска понемногу сходила с его лица, выравнивалось дыхание... Вскоре Мери убедилась, что цыган спит.

«Жив... Вот спасибо, господи! Как там дед Илья всю жизнь говорит? «Как цыгана не бей, хоть убей, хоть разбей, – а через неделю встанет!»»

Вскочив и убедившись, что Нанка, отмыв котелок и заново наполнив его водой, уже варит кашу, Мери побежала к шатру деда Ильи, где устроили Аську.

С первого взгляда она убедилась, что здесь придётся потруднее. Девчонка так и не пришла в сознание. Её плотно сомкнутые веки были неподвижны. Загорелая кожа отливала мертвенной синевой. Мери, сев рядом, склонилась к её груди.

– Дышит, дышит, – озабоченно подтвердила старая Настя, которая сидела у огня и так яростно мешала ложкой в котелке, что густое, исчерна-зелёное варево вот-вот грозило выплеснуться через край. Мери потянула носом, чуть заметно поморщилась. Старая цыганка, увидев её гримасу, усмехнулась.

– И нечего морду кривить! Ну да, карасинный чаёк мой варю! Если и он не поможет – стало быть, всё... Самое что ни на есть оживительное средство!

«Оживительное средство» было готово через полчаса, приобретя необходимую черноту, густоту и сказочную вонию. Попробовав ложку, старая Настя удовлетворённо кивнула и сплюнула в бурьян.

– Самое что надо! Мухи на лету дохнут! Давай, Меришка!

Мери, сидевшая наготове с ножом в руках, разжала лезвием зубы девушки, и старуха ловко влила в Ашкин рот полновесную ложку «карасинного чайка». Мери невольно зажмурилась, подумав: «В самом деле, помереть легче!» – и тут же услышала задыхающийся кашель.

– Есть! Есть! Плюётся! – возрадовалась старая Настя, взмахнув ложкой, как фельдмаршалским жезлом. – Николи ещё мой чаёк не опозорился! Давай, Меришка, свою болтушку, будем в девку заливать! Чичас, прочихается – и враз!

Аська хрипло, тяжело кашляла. По её подбородку бежали зеленоватые струйки, на лице было написано невыносимое страдание.

– Боже... – бормотала она. – Боже мой... Умираю...

– Ничего подобного! – бодро сказала Мери. – Открывай, красавица, рот, затируху есть будем!

Аське она дала ещё меньше, чем её отцу. Но всё равно девушка, едва проглотив, побелела, скорчилась – и её вырвало. Старая Настя перестала улыбаться, встревоженно посмотрела на Мери.

– Что – плохо дело? Нутро уже не примаёт?

– Примет, – стараясь говорить уверенно, пообещала Мери. Краем глаза она видела, что весь табор уже стоит вокруг них, вытянув шеи и внимательно наблюдая. – Просто надо поменьше дать, вот и всё. Аська, ты дыши, дыши... Сейчас хоть пол-ложечки ещё – и получится!

Так и вышло. И вскоре Аська уже лежала на боку, свернувшись в комок под ковровой шалью старой Насти, и на её исхудалом лице было такое же выражение умиротворённого блаженства, как у её отца.

«И эта жива будет, – радостно подумала Мери, сидя рядом и глядя на то, как красное, огромное, как тележное колесо, солнце валится в реку, превращая её в густой огненный кисель. – Знать, нужны они оба ещё Богу, – и Лёшка, и дочка его...»

– Мама! – позвала Нанка от костра. – Иди скорей, поедим! Тебя ждём!

Мери счастливо улыбнулась, встала – и пошла к своей палатке.

Дни покатались дальше. Шло своим чередом жаркое, звонкое степное лето. Выгорал ковыль, белым пухом покрывался бурьян, парили в линияло-голубом, высоком небе орлы. Звенела под копытами цыганских лошадей дорога. Табор двигался из голодных придонских степей обратно в среднюю полосу.

«Прежде времени на постой торопимся...» – вздыхали цыгане. Впрочем, в их голосах больше не звенело отчаяние. Добытая на больничном кладбище пшеница была аккуратно поде-

лена на все семьи в таборе: аккуратный мешочек теперь ехал в каждой телеге, надёжно спрятанный в перинах.

Лёшка и его дочь уже были на ногах. Они ещё были худы, как заборные штакетины, у обоих торчали рёбра, скулы и ключицы, – но уже было заметно, как хороша собою Аська. Выющиеся, смоляно-чёрные, сильно отросшие за время болезни волосы были длиннее и гуще, чем у любой девчонки из табора. Аська заплетала их в две толстые косы, каждая – толщиной в руку. Глаза Аски, остро-чёрные, с синевато-золотистым белком, всегда хранили выражение лукавой насмешки над всем сущим. Фигура, гибкая, длинная, изящная, приковывала взгляды. Однако, Аська сильно хромала: её левая ступня была изуродована страшным, рваным шрамом. Девчонка рассказала, что из-за этой раны и оказалась в больнице, наступив босой пяткой на обломок ржавого серпа. Аська подолгу разглядывала свою ногу, ругаясь и страшно переживая, что не сможет больше ни гадать, ни плясать. Мери в глубине души опасалась, что так и будет, пока старая Настя не сказала ей потихоньку:

«Ничего, попляшет ещё девочка. Жила-то не порвана, пальцы шевелятся, гнутся! Стало быть, заживёт!»

Лёшка тоже понемногу выправился и оказался добродушным, спокойным мужиком с мягкой, смущённой улыбкой, словно её обладатель всегда чувствовал себя в чём-то виноватым. В уголках Лёшкиных глаз лучиками расходились весёлые морщинки. Он всегда был готов рассмеяться самой незамысловатой шутке, и тогда его прекрасные, белые и крепкие зубы вспыхивали в широкой, искренней улыбке. У него оказались очень ловкие руки: Лёшка мог шутя починить тележное колесо, надставить ось, вырубить и заострить новую шошку⁷ для шатра, зашить порванный чересседельник или насадить на новую рукоятку топор. За работой этот цыган всегда что-то напевал, насвистывал или бормотал нараспев. Он пел хрипловатым, негромким голосом деревенские или таборные песни, иногда – солдатские частушки, время от времени выдумывал что-то своё – и тут же забывал... Цыган это ужасно веселило, они даже в шутку бились об заклад: удастся ли хоть кому-нибудь из них заставить Лёшку молчащим за работой? При этом уговорить его спеть вечером у общего костра не удавалось даже старой Насте: Лёшка испуганно отмахивался, мотал кудлатой головой, выпихивал вместо себя дочку и вздыхал с облегчением, когда его, наконец, оставляли в покое.

Однажды Семён услышал задумчиво исполняемое Лёшкой на мотив «Наш паровоз вперёд летит»:

Амэ традас, амэ дыкхас,
Амэ кагня чораса...
Кагны тхулы, сыр гурувны,
Ай да барэ буляса⁸...

В другой раз Мери, к своему страшному удивлению, услышала, как Лёшка, смазывая дёгтем снятое колесо, поёт жестокий романс «Я всё ещё его, безумная, люблю». Судя по тому, что все слова певцом произносились правильно, этот романс Лёшка прежде слышал не раз и не два. «Где же он этого нахватался? – изумлённо подумала Мери. – Романс сложный, так просто не выучишь... Неужели жил в городе? А по нему никак не скажешь! Совершенно ведь таборный, до печёнок! И в голове одни кони, как у наших! Чудно...»

Лёшка и Семён очень быстро сдружились: оба были страстными лошадиниками, готовы были всю ночь говорить о конях, менах, сделках и лошадиных болячках и однажды чуть не подрались, споря о том, чем лучше выводить «конских червей»: полынным взваром или берё-

⁷ Жердь для шатра

⁸ Мы едем, мы глядим, Мы курицу крадём, Курица жирная, как корова, Да с большой задницей...

зовым углём. Конец спору положил дед Илья, заявивший, что червя из лошади лучше гнать заквашенной на дёгте свеклой, а кто этого не знает – тому к коням и подходить незачем.

О своей семье Лёшка говорил неохотно. Он поведал лишь о том, что они с Аськой – из псковских, род их называется «ксанёнки» и кочевали они всю жизнь по окрестностям Белоруси и Западной Украины. Под Ростовом они, как и многие другие цыгане, оказались, спасаясь от голода.

– Отчего же ваши вас бросили? – задала однажды вечером Мери давно мучивший её вопрос. – Жена твоя, ты говоришь, уехала? Отчего?

Лёшка молча вертел в губах стебелёк сухой травы, смотрел на падающее за степь солнце. Вопросы он, казалось, не услышал, и Мери не стала повторять его. Поставила на скатерть котелок с жидковатой шутлагой⁹, положила рядом лук, печёные картофелины, позвала мужа. Увидев, что Лёшка поднимается, удивилась:

– А ты куда? Поешь с нами!

– Спасибо, сестрица, не хочу, – отозвался он рассеянно и, как показалось Мери, грустно. И пошёл, не оборачиваясь, к лошадям, бродившим у реки.

– Не трогай ты его, – посоветовал Семён, глядя в спину друга. – Рано пока.

– Ты-то не вызнал ещё, что у него стряслось? – осторожно спросила Мери, передавая детям варёные яйца и деля между ними хлеб. – Видно же, что неладно с цыганом. Весёлый мужик, ясный, добрый, – а всё молчит, грустит. Тебе не говорил ли чего? Вы с ним всё с лошадьми возитесь вместе...

– В конях он хорошо понимает, – согласился Семён— Род-то его знаю я: настоящие цыгане, лошади хорошие. И ничего плохого за ними не водилось никогда. Да если бы Лёшка натворил чего, мы бы давно услышали! Сама ведь знаешь, как бывает: ещё нагрешить не успеешь, а уже в каждой палатке об этом языки трут, и по всем таборам молва пошла!

– Может, какое-то несчастье?.. – осторожно предположила Мери.

– Знамо дело, несчастье, коли жена ушла! – нахмурился Семён. – Ты к Лёшке до поры не лезь. Будет нужда – расскажет, а нет... значит, само зажило. Коли плохого ни за ним, ни за его девкой не водилось, значит, и языком чесать не о чем!

Муж был прав, и Мери, вздохнув, согласилась.

В Смоленской губернии табор оказался только в середине сентября. Осень пришла тёплая, сухая, с вызолоченными, сквозистыми берёзами по обочинам дороги, с пламенеющими рябинами, с ясным, прохладным, высоким небом, в котором неспешно и величаво плыли горы кипенно-белых облаков. По ночам уже случались заморозки, и наутро дорога покрывалась тонкими, как паутинка, ледяными прожилками. Но днём пригревало, по опушкам леса цыганята собирали последние грибы, а в телегах ещё хранились остатки «ростовского» зерна.

В один из вечеров цыганки примчались из села весёлые, взбудораженные невиданной добычей: в торбе у каждой лежала настоящая парная говядина! Оказалось, что по селу прошёл страшный слух о том, что всю до единой скотину, вплоть до последнего курёнка, власть поставила сдать в колхоз, а кто не согласится – немедленный расстрел с высылкой семьи в Сибирь. Оправившись от первого испуга, деревенские мужики дружно принялись резать скот. Часть мяса удалось засолить, часть засушить. По всем хатам варили щи с требухой и пекли пироги с ливером, делалась колбаса и подвешивались коптиться окорока. Цыганки, неожиданно попавшие на такое мясное изобилие, не растерялись и бросились по хатам. С каждого двора доносились их громкие, жалобные голоса и рёв цыганят, симулирующих голодные судороги. Нанка, которая виртуозно умела изображать обморок, рухнула без чувств прямо посреди сельской улицы, и перепуганная хозяйка, у которой Мери с душераздирающими воплями попросила воды «отлить девку», сама пригласила цыганок в хату.

⁹ Суп из щавеля

В сумерках цыгане, собравшись у костра, до хрипоты спорили: то ли сидеть здесь ещё неделю-другую, объедаясь до последней возможности, то ли ехать с этим мясом подальше, где о колхозных делах ещё и не слыхивали, и попытаться обменять его на что-нибудь стоящее. Спору положил конец Семён, авторитетно заявивший:

– Как решите, ребята, так и будет, только колхозные дела сейчас повсюду. Не в одной Михеевке скотину режут: никто свою животину в чужое хозяйство отдавать не хочет. И в Калужской, и в Брянской губернии, поди, то же самое делается.

– А в Московской? – грустно спросил кто-то. – Вдруг туда не докатилось ещё?

– Может, и не докатилось, – согласился Семён. – Только куда мы до Москвы с этим мясом доберёмся, оно у нас стухнет вчистую. Так что, по мне, лучше тут постоять да хоть неделю поесть по-людски. А потом, с животами набитыми – хоть до Москвы, хоть до Питера! Я всё сказал, а вы дальше решайте!

Как обычно, оказалось, что после слов Сеньки Лоло толковать уже особенно не о чем, и успокоенные цыгане разбрелись по палаткам.

У каждого шатра булькала в котелке наваристая мясная похлёбка. Мери и Нанка к тому же, заглянув на обратной дороге в рожицу, принесли полный фартук поздних подосиновиков. Суп вышел сказочным, дети наелись до отвала, а Семён полушутя ругал жену за то, что она укорила его всмерть и теперь он, хоть умри, не сможет подняться ночью к коням.

– И пусть! И нечего к ним подниматься: чай, не дети малые! – смеялась Мери, протягивая миску подсевшему к их костру Лёшке. – Держи, морэ, не расплескай! Ешь! Съешь – ещё налью! Богатые мы сегодня – давно такого не было!

Лёшка, смущённо улыбаясь, принял миску, взял поданную Нанкой ложку, принялся хлебать суп.

Вокруг быстро, по-осеннему, темнело. Из дальнего оврага украдкой подбирался к цыганским палаткам туман. Ярко горели костры, выстреливая в стынувший воздух снопами искр. Возле шатров дымили самовары, звенели чашки, пахло чаем из душистых трав и сушёных ягод. Возле одного шатра послышалась было мужская брань, женский обиженный визг, – но ссора так и не разгорелась: всем было хорошо в этот тихий, холодный, неожиданно сытный вечер. Казалось, все несчастья уже позади: не будет больше не голода, ни страшных, обезлюдевших деревень и станиц, ни обтянутых кожей, ещё живых скелетов на пустых улицах, ни одичалых собак, рвущих зубами трупы, ни людей с винтовками, деловито тыкающих железными «шупами» в подозрительно мягкую землю... И поэтому, когда Мери, убирая посуду, вполголоса затянула песню, к ней сразу же присоединился голос дочери. Несмотря на юный возраст, Нанка уже считалась признанной таборной певицей. Десятилетний Мишка любил вторить сестре. И сейчас они вдвоём сидели у огня, привалившись плечами друг к другу и упоённо вели на два голоса «долевую»:

– Вы, цыгане, вы, добрые люди, пожалейте вы годы мои...

«Доведут деда до сердца, ей-богу...» – обеспокоенно подумала Мери, глядя через языки огня на деда Илью. Тот сидел не двигаясь, прикрыв глаза. Слушал, казалось, равнодушно, – но Мери знала и этот сжатый, словно судорогой сведённый кулак, и эту тень, пробежавшую, как отражение облака в воде, по лицу старика.

«Как его дочь покойная эту песню пела... Кажется, никто так больше не пел! И Нанка моя не споёт!» А Нанка заливалась с закрытыми глазами, по-взрослому покачивая головой, улетающая голосом в тёмную осеннюю высь, к ледяным звёздам. И задумчиво вторил ей, уставившись в огонь, старший брат.

Нанка закончила песню. Осмотрелась по сторонам, увидела застывшие физиономии цыган, тёмное, окаменевшее лицо деда Ильи. Вздохнула, улыбнулась – и вдруг взяла высоко и звонко, подняв руки к голове и полоснув улыбкой:

– Прогэя, прогэя тэрно чаворо!..

И сразу все словно ожили, вздрогнули, заулыбались, заблестели глазами!.. Вслед за Нанкой вступило ещё несколько женских голосов, рывкнула гармонь, кто-то со всех ног помчался в шатёр за гитарой, – и вскоре весёлая песня неслась над отуманенным полем. Девчонки одна за другой врывались в круг – глазастые, растрёпанные, и их серьги, прыгая, сверкали в отблесках огня, и ещё сильнее блестели опьянённые пляской глаза! «Жги, жги, жги!» – выстукивали по подмёрзшей земле босые пятки. «Проджя¹⁰, проджя, проджя!» – передразнивала их гитара. «А-ах, мар¹¹-мар-мар-мар!» – подначивал бубен. Вслед за девушками по одной вошли в круг и взрослые цыганки. Мери и сама не поняла, какой ветер вдруг поднял её, словно на могучих крыльях, – и вот она уже пляшет, отбивая пятками по холодной земле и трепеща плечами, и цыгане орут как сумасшедшие: «Давай, Меришка, давай, Княжна-а-а!» А она, облетев круг, низко поклонилась деду Илье, взмахнула кистями шали – и старый цыган вскочил, как мальчишка, взьерошив руками седые кудри и не слыша тихого смеха старой Насти: «За-аиграл, жеребец...» А через мгновение и сама Настя под восторженный вой цыган плыла по кругу, мелко-мелко дрожа плечами, и всем было видно, что даже сейчас, на седьмом десятке, она лучше всех молодых. А вслед за бабкой, натянутый как струна, шёл, кладя след в след, её внук, и в глазах его бились и нестерпимо горели языки костра...

Улыбнувшись, Мери отвернулась от цыган – и увидела Лёшку.

Тот сидел в стороне от освещённого круга. Не пел вместе со всеми, не улыбался. Обхватив руками колени и положив на них подбородок, он смотрел на пляшущих цыган тоскливым, полным горечи взглядом. Глаза его блестели влажно, лихорадочно.

«Заболел, что ли?..» – тревожно подумала Мери... и вдруг увидела каплю, сбежавшую по щеке Лёшки и предательски блеснувшую в свете костра. В тот же миг они встретились взглядами. Изумлённая Мери не успела отвести глаза.

Лёшка моргнул. Неловко отвернулся, пряча лицо. Вскочил – и, не оглядываясь, ушёл в темноту.

... – Уштэньти! Просовэньти! Сыгедыр, ромалэ, – халадэ! Халадэ явнэ! Рая явнэ, уштэньти сарэ¹²!

Отчаянный крик Мери пронёсся над спящим табором. Было так рано, что звёзды ещё не погасли: их бледные тени виднелись в сумрачно-серебристом небе над лесом. На востоке едва розовело. Вдали чуть темнел край села – а на дороге отчётливо виднелись фигуры в фуражках.

Поднялся переполох. Первыми вскочили и залились оглушительным брёхом собаки. Милиционеры, которых было десятка полтора, испуганно и сердито закричали, но Мери руганью отогнала псов. Сразу в нескольких палатках заревели дети. Выбежали цыганки – ещё заспанные, растрёпанные, они с ужасом усталились на «начальство». Следом повылезли из шатров их мужья, – и вскоре весь табор, встревоженно гомоня, сгрудился вокруг утренних гостей. Мери стояла за спиной мужа, испуганные дети прижимались к ней. Годовалый Илюшка копошился у её груди, недовольно попискивал, ища сосок, и Мери машинально раздвигала ворот кофты.

¹⁰ Пройди

¹¹ Бей

¹² Вставайте! Просыпайтесь! Скорее, цыгане, – солдаты! Солдаты пришли! Начальники пришли, вставайте все!

– Отгоните собак, товарищи цыгане! Имеется к вам серьёзный разговор.
Сквозь толпу торопливо пробирався дед Илья.

– Вы здесь старший? – почти вежливо спросил один из милиционеров. – Как ваше имя, товарищ?

– Илья Григорьевич, – сдержанно отрекомендовался старый цыган. – Что случилось, товарищи милиция? Отчего до света пришли? Заглянули бы вечерком, посидели бы, как люди, девки наши для вас спели бы...

– Мы сейчас не по вопросу пения, товарищ, – без улыбки отозвался милиционер.

– А чего ж тогда от нас надобно? – удивился старик. – Раз явились в рань такую – стало быть, дело важное?

– Очень важное, – согласился милиционер. – Вы, Илья Григорьевич, знакомы с постановлением Политбюро ВКП(б) о коллективизации?

По толпе пробежал гомон. Цыгане дружно развернулись и уставились куда-то за спину деда Ильи. Не спеша повернулся и сам дед. Вполголоса сказал:

– Сенька, поракир халадэнца. Со лэнгэ чебинэ амэндыр¹³?

– Лэнгэ чебинэ амарэ грая и амэ сарэ¹⁴, – негромко ответил деду Семён. И спокойно обратился к незванным гостям:

– Я знаком с постановлением, товарищ. Вам кони или люди нужны?

– И то, и другое, товарищ, – спокойно отозвался милиционер. – Уборочные ещё не окончены, а в колхозе своих сил не хватает. Поворачивайте оглобли! Осень уже, вам всё равно зимовать где-то надо... И нечего кричать, гражданка! – резко махнул он рукой на открывшую было рот старую Настю. – По закону, мы вовсе имеем право вас арестовать, а всех ваших лошадей...

Он не успел договорить: с десяток женщин тут же рухнули на колени, схватившись за головы и закатившись криком:

– Не забира-а-айте коне-е-ей! Мы цыга-а-ане, нам без лошадей не жить! Ой-й-й, боженьки, что ж подела-а-ать?! Ой, смерть, погибель наша пришла-а-а!!! Лоло, со амэнгэ тэ кэрэн? Ровэн, годлы дэн? Вастэнца, дандэнца рискирэн халадэн¹⁵?!

– Переяченъти¹⁶! – отрывисто бросил женщинам дед Илья, покосившись на внука. – Сенька, со тэ кэрэс? Хасиям амэ¹⁷?

Семён медленно, не глядя на деда, покачал головой. Казалось, он напряжённо размышляет о чём-то.

– Да... да что же это такое! – заорал вдруг Лёшка, который до сих пор молча стоял рядом с Семёном. – Коней? Наших?! Отобрать?! Да кто ж вам, проклятые, коней-то даст?! Да попробуйте только...

Оскалив зубы, он кинулся вперёд – прямо на милиционера. Тот отпрянул, машинально выставив вперёд винтовку. Аська, завизжав во всю мочь, кинулась было к отцу... но в этот миг Семён одним коротким движением сбил друга с ног. Лёшка растянулся на подмёрзшей траве во весь рост, успев только испуганно выматериться.

– Закэр муй, дылыно¹⁸! – с бешенством прошипел Семён, рывком поднимая Лёшку на ноги и отталкивая его за спины цыган. – Чявалэ, лэнъти лес яври сыгедыр¹⁹... Товарищ милиционер, вы нашего дурня-то простите: он со вчера пьян, не соображает ничего! Цыгане против власти никогда не шли. Как скажете – так и будет. – Он обвёл тяжёлым взглядом притихшую

¹³ Сенька, поговори с солдатами. Что им нужно от нас?

¹⁴ Им нужны наши кони и мы все.

¹⁵ Лоло, что нам делать? Плакать, кричать? Или руками, зубами солдат рвать?

¹⁶ Перестаньте

¹⁷ Сенька, что делать? Пропали мы?

¹⁸ Заткнись, дурак

¹⁹ Ребята, заберите его прочь скорее!

толпу цыган. Повернулся к милиционерам. Хмуро сказал. – Не забирайте лошадей, товарищи. Повернём мы в ваш колхоз. И с конями, и с дитями. Насчёт домов не врёте ли?..

Глава 2

Городские

– Шлёп-тук! Шлёп-тук! Шлёп-тук! – стучали подошвы сандалий. Машка Баулова неслась по улице Горького привычной размашистой походкой. Тополиный пух лёгкими облачками разлетался из-под ног, застревал в лужах, путался в волосах. Пуха этого было особенно много жаркой весной 1933 года, и Машка яростно чихала, резко отбрасывая с лица стриженные выющиеся волосы. Сумка с полотенцем и тапочками молотила её по колену. Машка задержалась сегодня в цирковом кружке, совсем забыв про время, и спохватилась лишь к пяти часам, вспомнив, что старшая сестра просила быть вечером дома.

Трамвай, разумеется, оказался битком набитым, и Машка привычно взобралась «на колбасу». И – полетела через город, болтая ногами в старых сандалиях, поглядывая по сторонам и не забывая придерживать кепку на голове. Кондукторша заметила «зайчишку» уже на Китай-городе – и завопила как резаная, грозя юной хулиганке милицией и громом небесным. Пришлось спрыгнуть и дальше бежать вниз по Варварке уже на своих двоих.

Каким жарким, каким нестерпимо душным был этот май! С самого утра воздух был густым, как кисель, в котором увязала тусклая монета солнца. Поникали травы на косогорах, обессиленно свисала с деревьев запылённая листва. Москва-река вяло текла расплавленным свинцом в поросших бурьяном берегах. В небе, словно перегруженные возы, громоздились тучи, то и дело ворчал гром, ласточки встревоженно чиркали крыльями по самой земле – а гроза всё не шла и не шла.

Дом на Солянке был новым, голубым, двухэтажным, с большими окнами и просторным внутренним двором. Справа к нему примыкала старая церквушка, в которой год назад был овощной склад, а сейчас – клуб библиотечарей. Слева, нахохлившись, стоял дореволюционный деревянный особняк, когда-то принадлежавший купцу Петухову. За «петуховкой» громоздились дровяные сараи и старая голубятня, топырила ветви огромная старая липа. Заросший лопухами и полынью дворик из конца в конец пересекали бельевые верёвки, на пыльном пяточке посередине гоняли мяч и играли в лапту мальчишки, а на ветхой лавочке всегда поплавок торчала длинная фигура сумасшедшего «графа» Ардальона Палыча в летнем пальто и рыжих галифе. «Граф» был совершенно безобиден и обычно сидел тихонько, рисуя тростью в пыли какие-то знаки. Но иногда на Палыча «накатывало», и он, к потехе дворовых пацанов, начинал громко и пронзительно декламировать стихи об ананасах в шампанском, о храмах и фимиамах. Тогда из подъезда выбегала старуха Прокловна, которая приходилась «графу» не то женой, не то горничной, и разгоняла гогочущих мальчишек мокрой тряпкой и неаристократической бранью.

Сейчас «графа» на лавочке не было, но ещё из подворотни Машка увидела целую толпу, сгрудившуюся под липой. Всё это были её давние знакомые: Володька Шкамарда, Мишка Чёрный и Мишка Белый, Серёнька из Голенищевского, Васька Рыло, Петька Задрыга и Шурка Брэх. Стояло и несколько личностей с соседнего дружественного двора. Поодаль тёрлись даже девчонки, из чего Машка заключила, что произошло что-то из ряда вон. Небрежным движением плеча она раздвинула толпу, протиснулась к Шкамарде и деловито спросила:

– Что – на нашей липе арбузы выросли? Ждёте, пока попадают?

Володька басом хохотнул и указал перепачканной машинным маслом рукой (он уже год как учился в ФЗУ при ЗИСе) куда-то в развилку ветвей:

– Глянь! Загнали! И уже час орёт дурниной!

Сощурившись, Машка разглядела в переплетении ветвей, высоко-высоко над землёй, белый комочек. Присмотрелась – и выругалась по-дворовому так забористо и звонко, что Володька даже присел.

– Это ж Мадама! Вы что – с ума посбесились, пацанва? Зачем?! Я вам сколько раз, паразитам, говорила, чтобы не...

– Да это мы разве, Стрижка?! – возмущённо заорал Шкамарда. – Собачья свадьба с Таганки набежала! А Мадама как раз пройтись вышла, на лавочке вон сидела – уши мыла. На неё вот такой рыжий кобелина кинулся! А у неё же нервы! Она сразу пулькой и вознеслась! Мы охнуть не успели! А ты сейчас орать... Ты и сама бы не поспела, ага!

Машка на всякий случай смерила товарища презрительным взглядом, понимая, что Володька прав.

Мадамой в «петуховке» звали кошку Ардальона Палыча. Это была снежно-белая «ангорка» невероятной красоты. Мадама неспешно, словно королева в саду, прогуливалась между дровяными сараями, иногда заглядывала с высочайшим визитом в соседний двор, снисходительно поглядывала на дерущихся воробьёв и в знак особого благоволения позволяла кому-нибудь из жильцов почесать себя за ушком. Петуховцы кошку любили и не обижали. Пацаны поначалу пробовали её гонять, но Машка однажды сгребла за ворот рубахи огромного Задрыгу, прижала его к стенке сарая и доходчиво объяснила, что и в каком месте она ему оторвёт, если тот не перестанет «над невинной животинной издеваться, как последний гад.» Задрыга благоразумно не стал возражать: сестёр Бауловых во дворе побаивались. Старшая, Светка, когда-то была грозой всей Солянки и окрестных переулков, и связываться с ней не рисковали даже «жиганы» с бывшей Хитровки. Но сейчас Светлане уже стукнуло девятнадцать, она окончила семилетку и педагогический техникум, работала в школе, носила аккуратные блузки, укладывала волосы в гладкий узел, вводила парней в столбняк одним взглядом чёрных, огромных, чуть раскосых глаз – и в дворовые драки давно не вмешивалась. Зато подросток Машка могла нагнать страху на кого угодно. Лёгкая, тоненькая, быстрая как стригонок, в драках она не знала страха. С тринадцати лет Машка, невзирая на протесты матери, занималась в акробатической студии, участвовала в пирамидах, падала отовсюду, и к боли ей было не привыкать. Машке ничего не стоило напасть первой на пацана втрое сильнее себя. Не тратя время на препирательства и угрозы, она била точно и больно, ловко увёртывалась от ответных ударов и не замечала хлынувшей крови. К тому времени, когда противник понимал, что драться с бешеной девкой нужно всерьёз, он уже лежал на спине и тщетно пытался спрятать физиономию от крепких и острых Машкиных кулаков. Над проигравшим даже не смеялись: каждый пацан во дворе «петуховки» испытал на себе «бауловские атаки». Зачастую Машка даже не снисходила до драки. Язык у неё был удивительно противный, и несколькими издевательскими фразами она могла поднять на смех и вогнать в краску самую отпетую шпану. В пацанью компанию Машка была принята на равных, на авторитет вожака Шкамарды снисходительно не покушалась, и тот в глубине души был ей за это благодарен.

– Как бы её стащить-то оттуда? – Машка, сдвинув кепку на лоб, поскребла волосы. – Ведь нипочём сама-то не слезет, дура...

– Не слезет, – подтвердил Шкамарда, философски цыкнув зубом. – Так и будет орать до ночи! «Граф»-то куда не знает: спит, поди, стихов обчитамшись. А Прокловна на Болотный пошла. Вернётся – страх что с ней будет! Как бы родимчик не случился... И «графа» до припадка доведёт! Оба ведь больные до этой кошки, будто дочь родная...

– Пожарных, что ли, вызвать? – задумчиво прикинула Машка.

– Поедут они, как же... Из-за кошки-то! – хмыкнул Володька. – С утра в Болванах дом занялся, да на соседние перекинулось – полпереулка враз сторело! Было чем пожарным заняться-то! Всего полчаса назад обратно в часть прогромыхали. Сейчас вот только прибежать к ним и сказать: симите кошечку...

Парни, стоящие вокруг, загоготали. Машка полоснула свирепым взглядом через плечо. Хохот смолк как отхваченный.

Шагнув назад, Машка запрокинула голову. Ещё раз смерила расстояние от Мадамы до земли. Подумала. Медленно потёрла кулаком лоб. Шкамарда, хорошо знавший этот жест, испуганно предупредил:

– И не смей даже, Стрижка! Там ветки тонюсенькие! Даже под кошкой вон качаются! Убьёшься, как пить дать! Стоит ли она того, зараза буржуйская?

– Завернись, – посоветовала Машка, по-мальчишески раскачиваясь с носка на пятку с засунутыми в карманы платья руками. Затем глубоко вздохнула, сдёрнула с головы кепку, сунула её вместе с сумкой в руки оторопевшего Володьки, двумя ловкими движениями подоткнула юбку в трусики (никто из парней даже не заржал) и шагнула к липе. Шкамарда от души выматерился, протянул было руку к загорелому, шершавому локтю подруги – и отдёрнул не коснувшись.

До развилки Машка добралась в два счёта. Ловко, как обезьяна, двигая худыми лопатками, поползла по толстому суку. С минуту её красное платье мелькало среди ветвей, затем исчезло в зелени. Время от времени сверху падал ошмёток коры или сухой лист. Пацаны внизу замерли, как статуи. Васька Рыло уронил в пыль потёртую кепку – и даже не заметил этого. Шкамарда стоял стиснув кулаки и оскалив зубы, как перед дракой. Тишину нарушал лишь легкомысленное чириканье воробьёв и отчаянное кошачье мяуканье в вышине.

Наконец, тонкая фигурка в красном платье распласталась на ветке, нависшей над двором. Послышался тонкий, срывающийся голос:

– Мадама... Мадамочка... Миленькая моя, поди, поди сюда, кис-кис-кис... Кис-кис-кис, тебе говорят, сволочь! Иди сюда! Иди, спускаться будем! Мадама... да твою ж мать!!!

Отчаянное ругательство слилось с треском надломившейся ветки. Шурка Брёх зажмурился и присел. Мишка Чёрный хрипло ругнулся. Володька кинулся к липе... но красное платье по-прежнему победоносно, словно флаг, мелькало среди ветвей. Более того – оно продвинулось на полметра ближе к отчаянно орущей кошке.

– Стрижка! Дура! Слазь! – заорал Шкамарда. – Гнило дело, видишь?! Слазь, убьёшься!

Вниз упало короткое выразительное слово, и Володька замолчал. Сквозь зубы процедил:

– Да что ж это за холера за цыганская, мать её растак...

– Рисковая шмара! – восхищённо протянул за его плечом Мишка Белый. И тут же узрел внушительный кулак Шкамарды, подсунутый для убедительности под самый нос.

– Это ты «шмара», коровья задница! А Стрижка – человек геройский! Только сейчас от неё мокрое место останется...

«Геройский человек» тем временем осторожно, сантиметр за сантиметром, перемещался вперёд. Ветка прогибалась, трещала. Машка упрямо не смотрела вниз. Страха не было – только посасывало под ложечкой и мучительно хотелось почесать левую лопатку.

– Мадама! Марш сюда! – яростным, сиплым голосом приказала она. Перепуганная кошка, не двигаясь с места, палила голубыми вытаращенными глазами.

– Ты понимаешь, дура, что мне дальше нельзя? – проникновенно спросила Машка. – Понимаешь, что свалимся на пару? Тебе-то хоть бы хны, на лапы упадёшь! А мне – каюк! Этого тебе надо, да?!

Видимо, Мадаме это было ни к чему, потому что она вдруг неуверенно качнулась в сторону протянутой к ней руки.

– У-у-у-умница... – пропела Машка, судорожно хватаясь другой рукой за содрогающуюся под ней ветку. – Золота-а-а-ая моя... Кис-кис-кис, моя краса-а-авица, иди ко мне-е-е...

Теперь уже кошка, поняв, что от неё требуется, ползком пробиралась по тонким ветвям к отчаянной девчонке. Последнее судорожное движение – и Мадама вцепилась когтями в плечо своей спасительницы и под её придушенную ругань перебралась к Машке на голову.

– У-у, ведьма... Держись крепче, – предупредила Машка... и в это время ветка, хряснув, обрушилась вниз!

Уже падая, Машка чудом извернулась и успела-таки ухватиться за сук. Тот тоже немедленно обломился, но всё же успел замедлить падение – и на толстую ветку развилки Машка грохнулась грудью. Она больно ударилась, проехала щекой по шершавой коре, почувствовала, как с неё сдирают скальпы ополоумевшие кошачьи когти... – но руки, привычные к канату и кольцам, всё сделали сами, намертво вцепившись в могучую ветвь у самого ствола. Зажмурившись, Машка услышала треск рвущегося платья, пронзительный мяв Мадамы. Сердце, как взбесившийся мяч, прыгало в горле. Но под грудью уже была надёжная опора, ветка держала крепко – и можно было понемногу отпускать сведённые судорогой руки.

«Шмулич бы меня убил... – пришла в голову неожиданная мысль. – Хорошо – не видит...»

Учитель акробатики, старый цирковой мастер Зиновий Шмулевич Лупак, не уставал повторять на занятиях: «Более всего цирковое дело не терпит ненадобного рыска!» Но ему так и не удалось внушить это цыганской девчонке из солянских переулков...

Через минуту Машка слезла с дерева – растерзанная, взъерошенная, в безнадежно порванном платье, с окровавленным плечом, царапиной во всю щеку, с кошкой, намертво вцепившейся в волосы. Мадама сразу же спрыгнула на землю и метнулась в подъезд. Володька Шкамарда без лишних слов так хлопнул Машку по спине, что та чуть не полетела на землю. Выругалась было – но её уже окружили пацаны.

– Ну ты даёшь, Стрижка! Ей-богу, даёшь! – восторженно гудел ей прямо в ухо Васька Рыло. – Теперь поди к колодцу: личность умыть надо! Мать с сеструхой увидют – расстроятся... И платье твоему навовсе конец пришёл! Маманя-то не выпорет за одежду?

– Ничего, платье старое... – хрипло отозвалась Машка. Говорить не хотелось. Лица пацанов, тени листьев на земле, мшистая, отсыревшая стена сарая казались неестественно чёткими, словно обведёнными водой. Как в полусне, Машка позволила Володьке увлечь себя в глубину двора, где прятался старый-престарый колодец. Вытянули ведро, и Машка долго плескалась, по-мужски фыркая и яростно встряхиваясь. Шкамарда стянул свою рубаху, протянув её подруге вместо полотенца. Вытирая лицо, Машка мельком увидела стоящего у ворот чужого парня лет двадцати. Загорелая физиономия с сощуренными чёрными глазами и падающие на лоб из-под серой кепки крутые кольца волос показались Машке смутно знакомыми. «Цыган, что ли? Из маминой родни?... – подумала она. – Надо бы спросить, не к нам ли...» Но парень отвернулся, шагнул за ворота – и через минуту Машка уже забыла о нём.

– Господи ты боже мой! – с чувством сказала Светлана, выйдя в коридор и увидев младшую сестру, которая тщетно пыталась стянуть на животе разорванное платье. – На кого ты похожа, несчастная?! Опять с кем-то подралась? Давно замуж можно выдать, а ты...

– Сама сначала выйди! – Машка запустила сумку на вешалку и, дрыгнув поочередно ногами, сбросила разбитые сандалеты. На пол посыпалась древесная труха, пыль, мелкие камешки. Светлана молча указала сестре на веник в углу и ушла в комнату, на ходу предупредив:

– У нас гости.

– Кто-о?.. – кисло сморщилась Машка. – Наши? С Живодёрки?

– К маме Ляля пришла. А с ними... ты сейчас просто в обморок упадёшь! Михал Михалыч!

– Да ты что? Яншин?! – обрадовалась Машка. – Живой?! Вот здорово! Это правда, что наша Ляля его от Полонской увела?

– Да замолчи ты! – рассердилась Светлана. – Трубишь, как слон, на всю квартиру! Бегом переодеваться! А кто тебе так плечо рассадил?

– Света, взгляни на чайник! – послышался из комнаты голос матери. Машка прыснула в ванную.

Когда она, умытая, в новом платье, с причёсанными и смоченными водой волосами, с запудренной царapiиной чинно вошла в комнату, там уже пили чай. На скатерти стояли голубые фарфоровые чашки, самовар, тарелка с бубликами, вазочки с вареньем и дорожные конфеты из Елисеевского.

«Наверное, Яншин принёс», – подумала Машка, вежливо здороваясь с гостями. Мать, высокая и стройная в вишнёвом крепдешиновом платье с узким поясом, с аккуратно уложенной причёской (актрисе Нине Бауловой-Молдаванской недавно исполнилось тридцать восемь лет), чуть заметно нахмурилась. Ляля, сидевшая с ногами на диване, весело улыбнулась Машке, помахала рукой. Невысокий круглолицый Яншин встал из-за стола и поклонился шестнадцатилетней девчонке церемонно, как взрослой. Она ответила знаменитому актёру торопливым и смущённым кивком. Осторожно пробравшись на своё место у шкафа, стала слушать старшую сестру.

– ... и ни у кого, никогда, ничего с цыганами не получится! – убеждённо говорила Светлана. По тому, как бледнели её смуглые пальцы, сжимающие спинку стула, Машка поняла, что сестра взволнована не на шутку. – Потому что ничего этого им не нужно! Можете сколько угодно спорить со мной, но это так! Я знаю что говорю, я сама цыганка! И целый год после техникума в цыганской школе отработала! Если бы я была правительством, я бы ни копейки не дала ни на этот техникум, ни на эти школы, ни на этот ваш театр... И не надо, мама, так на меня смотреть!

– Светочка, я отказываюсь вам верить, – убеждённо произнёс Яншин, обернувшись при этом на Лялю. – По-моему, вы просто очень молоды и поэтому судите слишком резко...

Машка вздохнула так возмущённо и шумно, что все обернулись к ней. Но Светлана (вот что значит учительница!) лишь холодно улыбнулась:

– Годы мои тут вовсе ни при чём, Михаил Михайлович. Но цыган надо знать, чтобы с ними иметь дело! Сейчас их полна Москва! Все окраины в палатках и шатрах! Все сейчас здесь – потому что по деревням голод, а детей всё равно надо кормить! Мужики ещё кое-как сумели устроиться: повсюду стройки, нужны лошади, подводы, рабочая сила. А что делать женщинам? Ходят по улицам с торбами и клячат! И хорошо если только клячат!

– Но ведь именно сейчас, – Яншин обратился к Светлане, но смотрел по-прежнему на Лялю, которая, словно не замечая этого взгляда, мечтательно глядела на сизые тучи, сходящиеся над крышей «петуховки», – Именно сейчас, я полагаю, этим несчастным людям и нужна ваша помощь! Ваша – грамотных, образованных, культурных людей, которые...

– Вы цыган полагаете несчастными? – тихо спросила Светлана. – Ляля! Лялечка, отвернись от окна, нет там ничего интересного! Лялечка, объясни Михаилу Михайловичу, что самая нищая таборная цыганка никогда не сочтёт себя несчастной! Это русскому человеку стыдно бродить под окнами с протянутой рукой и голыми, грязными детьми! А цыганкам – не стыдно и не противно! Они веками живут так! И будут жить! Они не знают и знать не хотят ничего другого! И детей своих учат тому же, и никто ничего не сможет с ними поделать! Вон сколько цыганских школ пооткрывалось в последние годы! Ну и зачем, спрашивается?! Как будто была в том какая-то нужда! Те, кто хотел учиться, прекрасно учились и в обычных школах – как я, например! Как Маша! Как Ляля и мама! Как все московские цыгане! Да сейчас в каждой деревне есть школа – и цыганят туда принимают с удовольствием! Русские цыгане на все зимние месяцы детей отдают: пусть учатся, хуже не будет... А котляры нипочём не отдадут: им не надо! И влахи не отдадут, и крымцы, и другие...

– Цыгане все такие разные? – удивился Яншин.

– Мишенька Михайлович, я же вам рассказывала, – тихонько сказала Ляля.

Яншин недоверчиво покачал головой.

– Михаил Михайлович, это всё правда, к несчастью, – услышала Машка ровный, мягкий голос матери. – Таборные девочки не пойдут учиться. Особенно котлярки.

– Отчего они – «котлярки», Нина Яковлевна? Их отцы делают котлы? Как это может мешать учёбе в школе?

– Котлы, конечно, ничему мешать не могут... Мешают обычно пустые головы! У котляров даже мужчины неграмотны: хорошо, если на весь табор хоть один наберётся, который сможет разобрать вывеску. Россия для них – чужая, всё, что здесь происходило в последние годы – победа революции, ликбез, стройки, всеобщая грамотность, пятилетки, – пустой звук. А если моя Света, наплевав на здравый смысл и обычаи, явится в котлярский табор учить взрослых, уважаемых цыган, как им обращаться с собственными дочерьми...

– ...меня в лучшем случае прогонят прочь, – мрачно закончила Светлана.

– А в худшем – табор перепугается и снимется с места среди ночи – чтобы не понаехали начальники и не арестовали мужчин за угнетение женщин и детей. Случаи уже были. Вам Ляля рассказывала про наши театральные агитбригады? И чем это всё кончалось из раза в раз? Я говорила и Мишке, и Лебедевым, что это пустая затея, но кто меня послушал?..

– Да-а... удивительно, – медленно произнёс Яншин. – Я ничего этого не знал... Нина Яковлевна, но согласитесь же, что это... неправильно! Преступно! Это несправедливо, в конце концов! Ведь цыгане – удивительный народ! Самый музыкальный, пожалуй, на свете! Одарённый на каком-то глубинном, незатронутом уровне...

– Вот-вот! – снова не стерпела Светлана. – Так глубоко одарены, что за всю жизнь не докопаться! Потому и силы тратить не хотят!

Машка расхохоталась. Улыбнулась и Нина. Ляля, прыснув, как девочка, спрятала лицо в ладонях. И в это время за окном так ударило громом, что вздрогнула и качнулась кружевная занавеска, а Нина от неожиданности ахнула. Розовая вспышка озарила квадрат окна, высветила заметавшиеся от порыва ветра ветви старой липы. Снизу раздались испуганные возгласы. Соседка с верхнего этажа выбежала во двор и торопливо принялась сдирать с верёвки захлопавшее на ветру бельё.

Отвернувшись от окна, Нина поймала пристальный взгляд подруги. Вздохнула. Убедившись в том, что Яншин полностью поглощён спором со Светланой, вполголоса сказала по-цыгански:

– Ляля, но ёв же ратяса явэл, ёв буты кэрэл, мэ же ракиравас тукэ²⁰...

– Ничи, мэ подужакирава²¹, – так же тихо, но упрямо ответила Ляля. Нина только пожала плечами и украдкой вздохнула.

За окном зашептал, мягко застучал по листьям дождь. Светлана, ещё сердитая, сняла со стены гитару, принялась, проверяя настройку, тихонько трогать струны. Мягкие, вкрадчивые аккорды поплыли по комнате. Ляля по-прежнему смотрела в окно, о чём-то серьёзно думала. Яншин иногда озабоченно взглядывал на неё. С улыбкой наблюдая за этими двумя, Нина не сразу заметила, что струнные переборы под пальцами дочери сплетаются во что-то полузабытое, грустное, протяжное. Вспомнив, она покачала головой. Вздохнула и напела вполголоса:

– Тумэ, ромалэ²²...

– Тумэ, добрые люди... – сразу же верхней терцией подхватил голос Светланы. Яншин встрепенулся, отвернувшись от Ляли. Его карие, живые глаза радостно взглянули на Светлану. Та, улыбнувшись, взяла громче, два сильных голоса, переплетаясь, поднялись к потолку... и тут вступило бархатное, неожиданно низкое контральто Машки, которое, когда младшая

²⁰ Ляля, но он же ночью придёт, он работает, я же тебе говорила...

²¹ Ничего, я подожду.

²² Вы, цыгане

Нинина дочь была в ударе, могло выбить слезу из камня. Ляля порывисто повернулась, всплеснула руками – и огромные очи её загорелись.

«Какие глазищи у неё, в самом деле! – подумала Нина. – Ни у кого таких больше не видела: ни у наших, ни у гаджен! Яншин совсем голову потерял, бедный...»

«Давай с нами!» – взглядом попросила она Лялю. Та испуганно замотала головой, прижалась спиной к диванному валику. А старая таборная песня уже заполнила собой всю комнату, забила в потолок – и вырвалась за окно, под громовые раскаты и шум дождя:

– Вы, цыгане, вы, добрые люди,
Пожалейте вы годы мои.
Куда ни пойду, куда ни кинусь, —
Остался я, цыгане, один.
Всё богатство моё заберите —
Возвратите вы годы мои...

Выглянув в окно, Машка вдруг увидела того парня, с которым столкнулась в воротах. Тот сидел под навесом сарая, закутавшись в пиджак, курил в кулак и, очевидно, смотрел на освещённые окна, потому что они с Машкой сразу же встретились взглядами.

«Да кто же это?.. – снова подумала она, поспешно отходя в глубину комнаты и не замечая удивлённого взгляда сестры. – Кто же такой? Где я его видела?! Спуститься, что ли?..»

– Вот, ей-богу, так бы вслед за Федей Протасовым и повторил все его реплики! – глубоко вздохнул Яншин, когда песня кончилась и певицы, переглянувшись, улыбнулись. – «Это степь, это десятый век... не свобода, а воля!» Всю жизнь бы слушал!

«На Ляльку нашу ты бы всю жизнь смотрел, золотой...» – улыбнувшись, подумала Нина. Вслух же с напускной озабоченностью сказала:

– Света, гостей в тоску вгонять даже в десятом веке не принято было! Давай-ка нашу! – и чуть заметно показала глазами на Лялю. Светлана сразу же всё поняла и улыбнулась, блеснув чисто-голубыми белками глаз, так, что Яншин даже покрутил головой:

– Да вы, Светланочка, сушая Кармен!

– Упаси боже! – строго отозвалась та и, пустив по струнам бурный, звонкий перебор, дала в потолок знаменитую бауловскую «ноту»:

– Ай, яда ро-о-о-оща шуминэла!..

Машка гордо усмехнулась – и вступила вторым голосом:

– Тэ совэл мангэ на дэла!

Лукавые, сдвоенные аккорды плясовой подняли Нину из-за стола. Мягкий свет лампы упал на её строгое лицо с высокими, чётко очерченными скулами, заиграл в волосах, собранных в глянцевиный, иссиня-чёрный узел, переломился сине-белой искрой в бриллиантовых серьгах, надетых ради гостя, – и Машка невольно залюбовалась матерью. Тёмно-вишнёвый цвет платья выгодно подчёркивал медовую, изысканную смуглоту актрисы Бауловой-Молдавской. Руки её – тонкие, с изящными запястьями, – плавно приподнимались и опускались, как крылья, и вся она была натянута, как серебряная струнка, которая вот-вот порвётся.

– Ходи-ходи! – подначила Светлана. Но мать уже остановилась у дивана и, по-старинному поклонившись, позвала в танец Лялю. Та вспыхнула, как свеча. Откинула за спину волосы и, не надевая туфель, босиком пошла по паркету, словно сквозь себя пропуская каждый звонкий аккорд:

– Эта роща зашумела,
Девка спать не захотела,
Пробежала, молодая,
Мимо рощи на заре...

Как она плясала, как плясала! Нина, вся молодость которой прошла в цыганских хорах, у ног которой был весь военный гарнизон Петербурга, не могла отвести глаз от танцующей Ляли.

«Бедный Яншин, бедный... Нельзя мужчинам такое показывать! До конца дней забыть не сможет! Умирать будет – а Лялька наша перед глазами встанет... И откуда в ней это, господи?! Ведь даже в таборе не жила, родни кочевой нет! И цыганка-то всего наполовину... Да какое «наполовину» – на четверть! А как горит, как в ней светится это всё! Раз в тыщу лет такие рождаются... Пропал, пропадом пропал Мишенька Михайлович!» – оторопело думала Нина. Она боялась даже покоситься на Яншина, опасаясь увидеть что-то, совсем не ей предназначенное, то, чему не было места на людях, на чужих глазах... А Ляля шла по паркету, ступая узкими ступнями, словно по углям. Легко взлетали руки, чёрное облако волос шевелилось как живое, – и горели, светились глаза, на дне которых билась манящая, колдовская искра... Аккорд! – и плясунья сорвалась, полетела, затрепетала, как огонёк на ветру, как былинка в поле. Взмах – и взгляд бьёт в лицо, как ночной ветер, и несётся по полу дробь, будто табун коней летит по грудь во влажной траве. Раз! – разлетелись крылья шали, словно птица рванулась в небо из камышей. Забили, заходили ходуном плечи, полоснуло, как лезвием, улыбкой, сверкнули зубы, заметались мохнатые ресницы – и сквозь упавшие на лицо пушистые пряди волос призывно и жарко светились шальные очи.

– И вы, Светочка, ещё говорите, что цыганам не нужен театр! – чуть слышно сказал Яншин, когда Ляля, закончив пляску, с размаху кинулась на диван и жадно принялась тянуть из чашки остывший чай. – Да только для того, чтобы показывать людям вот это чудо... Лялю Чёрную! Только для этого стоило выбивать из Рабиса эту субсидию и...

– Мишенька Михайлович, ну что вы, в самом деле! – непритворно растерялась Ляля. – Нельзя так говорить, право! У нас в театре столько людей достойных! Я, когда услышала, что набор будет, помчалась туда, ног не чуя! Хоть поломойкой готова была, хоть билетёршей – лишь бы в свой театр, в цыганский! Нина, да скажи ты ему, как мы все тогда обрадовались! Как все к тому времени по пивным намучились, не знали, куда приткнуться! Все наши, московские, просто задрав хвосты туда кинулись и...

– Лялька, закэр муй²³, – с улыбкой заметила Нина. Ляля сердито взмахнула ресницами, взглянула на недоуменно улыбнувшегося Яншина – и с запинкой закончила:

– Ну, и таборных набрали много, конечно же... Для них же и старались! И объявление в газету давали, да!

Нина, изо всех сил стараясь не улыбаться, подумала о том, что ни один таборный цыган не сумел бы прочесть то объявленьице, напечатанное в самом начале 1931 года мелким шрифтом на последней странице газеты... Да и нужды в том, признаться, не было никакой.

Мысль о цыганском театре первой пришла в голову Мишке Скворечико, который ворвался в дом Нины поздним осенним вечером – взбудораженный, мокрый (дождь лил стеной), со сверкающими, как у боевого жеребца, глазами:

– Нинка! Слушай, тут вот какое дело! Мы с ребятами потолковали и решили – надо театр свой делать!

– Чего?.. – Усталая и сердитая Нина, которая лишь недавно вернулась с работы (она служила тогда машинисткой в «Заготплодошресте» на Таганке), даже не сразу поняла, что

²³ Закрой рот

от неё хотят. – Мишка, да что ты мечешься, как тигр в клетке? Разденься! Садись! Сейчас ужинать будем! У меня, не поверишь, колбаса есть... Отчего ты так поздно-то?

– Да я напрочь забыл, что вы из «петуховки» съехали! По привычке туда прибежал – а мне Бабанины говорят: другую квартиру чекисту дали, по соседству, в новом доме! Да наплевать, что поздно: всё равно ещё не спишь! – Мишка с грохотом обрушился на стул, швырнул на столешницу мокрую, измятую кепку. – Сядь! Не буду ужинать, оставь чайник в покое, СЯДЬ, ТЕБЕ ГОВОРЯТ!

Испуганная Нина боком опустилась на табуретку.

– Театр будем делать – слышишь?! Ванька Лебедев правильно говорит! Сейчас начальство малым народам самосознание приказало укреплять! Деньги дают! Помещения! Помогают! Чуть не в ножки кланяются – только развивайтесь, ради бога, как порядочные пролетарии! Смотри, какие дела творятся! Евреи себе театр сделали – а мы чем хуже? Давно пора! А то опять спохватимся после раздачи, когда уже не останется ничего! Нинка, ну что ты, дура, смеёшься: дело верное! Деньги-то и впрямь дают, не шутка! Смотри, техникум цыганский работает всюю! Школы цыганские есть! «Нэво дром»²⁴ печатается! «Романы зоря»... Да хватит хохотать! Чего смешного-то?

– Того, что «Нэво дром» ваш даром никому не нужен! – отмахнулась Нина. – Не сегодня-завтра гадже поймут, что толку от него никакого, и прихлопнут!

– Отчего же никакого-то?.. – взвился Мишка, который приложил немало усилий к открытию и «Нэво дром» и «Романы зоря». – Евреям, значит, можно газету иметь, а нам – нет?!

– Миш-ш-шка! Евреи – это евреи! Они, когда берутся – делают! У евреев и язык один на всех, и говорили они на нём всю жизнь, и в Москве их в двести раз больше, чем наших! У евреев, если газета выходит, так её читать есть кому! А твои цыгане...

– Что «мои цыгане»?

– Неграмотные твои цыгане, вот что! И никакая газета им даром не нужна – ни русская, ни цыганская! В таборе газеты только на самокрутки годятся, а новости на базаре узнают! И всю жизнь так было! А грамотный цыган, если ему вдруг приспичит газету прочесть, пойдёт и «Правду» купит! На русском! Потому что он на этом русском с рождения и говорит, и читает! А по-цыгански он будет со своими дядьками и тётками таборными разговаривать! Наш язык только для болтовни и годен! Неужели сам не видишь? Попробуй передовицу из «Правды» на цыганский перевести – половины слов не найдёшь! Ах да, я же забыла: вы же этим и занимаетесь в своём «Нэво дром»! – Нина вскочила и метнулась в комнату. Вернулась с потрёпанным журналом, открыла наугад и выразительно прочла:

– «Прэ шестнадцато съездо амари партия ракирдяпэ, со амэ пиригэям восстановительно периодо и пригэям ко реконструктивно!» Убиться можно, как по-цыгански, а?! На двенадцать слов – шесть русских! Шесть, Мишка! Половина! Тебе самому не смешно?! «Пригэям» они, видите ли, «ко реконструктивно»! Сколько времени потратили на то, чтобы новые слова выдумать, а зачем? Это же у вас крученыховщина какая-то! «Дыр бур шил»! Курам на смех! И ещё Пушкина взялись переводить! Вот чего цыганам всегда не занимать было – так это наглости! Даже слова-то такого, «стихи», в цыганском языке нет – а наш Колька Панков Пушкина переводит! Как закончит – за Шекспира, поди, возьмётся? А Гомер с Данте в очереди стоят, локтями пихаются: кому первому повезёт?

Мишка в ответ лишь сердито засопел.

Из-за цыганских книг и журналов они с Ниной насмерть поругались ещё тогда, когда Нина принялась издеваться над переводом на цыганский язык Пушкина, с хохотом утверждая,

²⁴ «Нэво Дром» («Новый путь»), «Романы зоря» («Цыганская зоря») – ежемесячные общественно-литературные журналы, выходившие в 1927–1932 гг. Журналы содержали новости, посвященные жизни цыган, и художественные произведения цыганских авторов. Публикации вынужденно носили политический характер.

что после цыганского осталось только на лошадиный язык перевести «Евгения Онегина» – и Госпремия авторам в руки! Мишка тогда страшно разозлился, принялся орать, что Нинка – буржуазная единоличница и пальцем не пошевелит, чтобы помочь своему народу, что смеяться всякий дурак может, а сделать хоть что-то – кишка тонка... Задетая за живое Нина завопила в ответ, что выдумывать несуществующие слова – детская забава и что лучше бы все эти цыганские активисты шли в школы детей учить – не в пример больше было бы пользы... Короче, сказано было много чего нехорошего, и старые друзья не разговаривали после почти целый год, о чём оба страшно жалели.

Сейчас же, отчётливо понимая, что в Нининых словах есть доля истины, и не желая снова ссориться, Скворечико нехотя ткнул вилкой в колбасу, отхлебнул чаю и, уставившись в тёмное окно с бегущими по нему каплями, насупился.

– Дело, конечно, нужное... – осторожно заговорила Нина, видя, что Скворечико расстроился. – Театр и пригодиться может. Говоришь, Лебедевы за это взялись?..

– Ну да! – Мишка мигом отвернулся от окна, блеснул зубами, по-молодому взъерошил ладонью волосы, и Нина с неожиданной болью заметила в смоляных кудрях Скворечико нити седины. – Нинка, ну ты сама подумай: сколько наших до сих пор мучаются! По пивным уже сил нет петь: паскудство одно! В газетах цыганщину громят! В Рабисе смеются! Романсы им – буржуазные кривлянья! Дядя Егор Поляков в «Стрельне» ещё кое-как держится – так уже и ему житья не дают! Слава богу, что на Лялю Чёрную пол-Москвы смотреть ходит! Цыгане, кто хоть что-то другое делать умеет, – давно пристроились, как вон ты! Артисты, певицы по артелям сидят, чай в пакеты расфасовывают! Самой-то не надоело в стенографистках торчать? А, Нина Молдаванская?

– Брось, Мишка... – отмахнулась Нина. – Где та Молдаванская?.. Старая я уже.

– В каком это ты месте старая, дура? – грустно спросил Мишка, глядя на неё блестящими глазами, и Нина, чувствуя, что краснеет как девочка, поспешно отвернулась. – Ты же певица от бога, зачем тебе чужие доклады переписывать? Надо собираться всем вместе – да свой цыганский театр делать! Правильно Лебедеи говорят! Дадут денег, помещение, будем спектакли на цыганском языке ставить...

– Главное, чтобы вам вместе с деньгами еврея-начальника дали, – усмехнулась ещё розовая Нина. – Не то опять один бардак получится.

– Нинка!!! Издеваешься, вредительница?

– И не думала даже, – со вздохом отозвалась она. – Ты что, цыган не знаешь? Прогалдят, проругаются, в артисты свою родню бездарную наберут, деньги казённые на ветер выкинут, – и всё. А если ума хватит биболдэн²⁵ над собой поставить – вот тогда, может, и дело пойдёт. Евреи о деле думать будут, а не о родне.

– Язва ты, Нинка. Всю жизнь такой была! – с сердцем сообщил Мишка.

– Голова на плечах у меня всю жизнь была, – холодно парировала Нина. – Вот скажи мне, умник, – на каком цыганском языке ты драмы играть собрался? И зачем?

– Зачем?! Нинка, да ты смеёшься?! Затем, что театр цыганский – значит, и играть надо по-цыгански! Что непонятного? Как евреи, как татары! Русские для русских по-русски играют! Проще репы пареной!

– На ЧЬЁМ цыганском языке ты спектакли ставить будешь, горе луковое? – ласково спросила Нина. – Ну, скажи сам, коль не дурак! На нашем? На котлярском? На крымском? Ещё на кишинёвском попробовать можно – и плевать, что те кишинёвцы театра в глаза не видели! А с гаджамы-то и вовсе худо окажется: гадже по-цыгански ни в зуб ногой! Будут в зале, как пеньки, сидеть, ничего не понимать и злиться! А во второй раз уже и не придут и денег за билет не заплатят! А цыгане, Мишенька, в театр-то ваш вовсе не явятся! С чего цыгану за билет платить,

²⁵ евреев

когда у него дома жена, сёстры и дочери всё то же самое ему бесплатно споют и спляшут? На вас одни русские ходить будут, как в рестораны всю жизнь ходили, – а ты для них по-цыгански играть вздумал! Глупости вы себе в голову забили, вот что. И ты, и Лебеди твои. Моё тебе слово: ищите еврея толкового да слушайте его! Авось что-нибудь путное да выйдет.

Мишка ушёл обиженный, даже не допив чай. Нина, оставшись одна, расстроено доедала колбасу и думала о том, что, наверное, нужно было по-другому говорить со старым другом. Ведь, по сути, Скворечико был совершенно прав: московские цыгане ошалели от безденежья, выступлений по пивным и презрительных газетных статей. Рестораны и богатые гости отошли в прошлое вместе с НЭПом. А Москва по-прежнему отчаянно любила цыган. По-прежнему эстрадные площадки, где выступали смуглые артисты в ярких нарядах, окружались толпами народа, по-прежнему блистала в «Стрельне» племянница Егора Полякова, юная Ляля Чёрная...

«Прав Скворечико, и Лебеди правы: надо что-то делать, покуда можно, покуда деньги на это дают... Только бы по-умному, по-правильному сделать, – а не как с этим «Нэво дром» дурацким...»

Но Мишка Скворечико недаром был знаменит среди цыган тем, что, вбив себе что-то в голову, неизменно доводил дело до конца. В Наркомпрос явились смуглые, черноглазые, интеллигентные цыганские мужчины с мягкой, грамотной речью и убедительными манерами. Речь перед наркомом держал Мишка Скворечико, в ярких красках описавший свой многострадальный кочевой народ, прозябающий в лохмотьях на грязных дорогах. В Наркомпросе заинтересовались. На создание «Индо-ромской театральной студии» были выделены субсидия и помещение. Было назначено прослушивание.

«Нинка, хочешь-не-хочешь, а в газету ещё написать надо будет непременно! – озабоченно объяснял Мишка, снова сидя на кухне у Нины. – Нам в комиссии так и сказали: привлекайте народные кадры, никакой цыганщины на сцене с романсами и завываниями, никаких «роковых страстей»! Мы их и так насилу уломали! Поначалу начальство нипочём слушать не хотело: «Зачем цыганам театр, что они там будут делать, цыгане – это ресторан, эстрада, вульгарщина, от этого надо избавляться...» Мы с Лебедевыми и Хрусталём там в четыре горла орали, кулаками по столу стучали: наш народ, мол, самый музыкальный, таланты-самородки в отрепьях по таборам пропадают, мы их вытащим, отмоем, людям покажем...»

«Мишка, но глупости же! – смеялась Нина, – Какие таборные в вашу студию пойдут? Не знаешь ты их, что ли? Им это всё и даром не нужно! Таборным только бы на конных ярмарках с кнутами орать, а бабам – с картами бегать! Другого ничего не знают и знать не хотят!»

«Это наплевать! Это пустяки! – Мишкины глаза блестели радостно, по-молодому. – Станет будто начальство разбираться! А засомневаются – мы им сразу тебя покажем! Ты-то ведь с нами, да? Ты ведь кочевала! По-настоящему! К тебе до сих пор таборная родня в гости ездит!»

«Да сколько я там кочевала, Мишка?! Ну, ездила с отцом по Крыму лет до шести, почти и не помню ничего... Какая из меня кочевница? Я в «Савое» весь НЭП проработала...»

«Ну и что? Подумаешь! Полным-полно таких в Москве! Лялю вон нашу Чёрную перед комиссией поставим, они разум потеряют!»

«Кого? Лялю? Дворянскую-то дочку?! Мишка, да ты, воля твоя, рехнулся! Да её за одно происхождение не возьмут!»

«Посмотрят на неё, обалдеют – и возьмут!» – убеждённо сказал Скворечико.

Объявление в газету на всякий случай, конечно, дали. Конечно, та газета не попала на глаза ни одному таборному цыгану, – да на это никто и не рассчитывал. Перед комиссией предстали московские цыгане-артисты, которых Мишка Скворечико накануне просмотра слёзно умолял:

«Ребята, девки, не забудьте: главное – по-народному! Никаких романсов! Никаких страстей! Пойте хоть «Валенки», хоть «Светит месяц» – только не как в нэповском кабаке! Не

знаешь, что спеть – пляши! Не умеешь плясать – на месте прыгай и очами сверкай! Скажешь потом, что дед твой в таборе всю жизнь эдак плясал! Будут спрашивать про родню – говорите, что все кочевые! Про студию из газеты узнали или от родственников на базаре! Тётя Маша, умоляю, только не в панбархатном платье на просмотр! Я сколько раз просил!..»

«Не беспокойся, Мишенька, не волнуйся! – добродушно гудела Мишкина тётка, которая в молодости сводила с ума московское купечество в ресторане «Яр». – У своей домработницы Груньки юбку возьму, у дворника – пальто! Ежели надо – и в соломе обваляюсь, разбрильянтовый мой!»

Больше всех беспокоились за Лялю. Полудворянское происхождение и гимназическое образование скрыть было невозможно. Но когда Ляля Чёрная, – взволнованная, тоненькая, с широко распахнутыми чёрными глазищами – тьмой египетской, – встала перед комиссией, из-за длинного стола послышался дружный вздох восхищения. А после того, как она сплясала – босиком, сверкая глазами, зубами, серьгами, под Мишкину гитару, – вопрос о её происхождении никому не пришёл в голову. Нина же окончательно уверилась в успехе этой авантюры, когда на руководство театром были приглашены «биболдэ»: Моисей Гольдблат, Семён Бугачевский и Александр Тышлер.

... – Боже мой! Первый час ночи! – Яншин с ужасом взглянул на ходики. – Нина Яковлевна, вы меня простите, ради Бога: я совсем забыл о времени! Давно уж так в гостях не засиживался... Но у вас, право же, так хорошо!

– Ну что вы, Михаил Михайлович! Мы вам рады, оставайтесь хоть до утра!

– Этого ещё недоставало! Нет, пора, пора, пора... – Яншин встал. – Лялочка, идёмте? Дождь закончился, я провожу вас...

– Закончился? Это хорошо... – Ляля отвернулась от окна и ласково улыбнулась Яншину. – Вы ступайте с богом, Мишенька Михайлович. А я, пожалуй, у Нины ночевать останусь.

– Но... как же так? Ляля? – совсем по-мальчишески обиделся Яншин. Нина чуть не рассмеялась, глядя в его круглое, растерянное лицо. – Мы ведь вместе пришли! И вы обещали, что... Я доведу вас до самого дома, доведу до двери и...

– Нет, нет. Я так решила, и так лучше будет, – с чуть заметной капризной интонацией, приподняв бровь, перебила Ляля. И тут же снова ясно улыбнулась, не дав Яншину обидеться. – Да не сердитесь же, Мишенька мой Михайлович, ей-богу же – не на что! Я к вам завтра на репетицию приду – можно? Меня ведь пропустят?

– Ну, разумеется, Лялочка, пропустят. Я попрошу... Да ведь вам скучно будет!

– Мне? Скучно?! Во МХАТе на репетиции – скучно?! – Реснички Ляли угрожающе дрогнули. – Да как такое говорить можно! Я всю-всю «Хозяйку гостиницы» посмотрю! И вашего барона Фырли-Пырли увижу наконец-то!

– Маркиза Форлипополи, Лялочка! – не выдержав, рассмеялся Яншин. – Приходите, моя дорогая, я буду счастлив! Вам как драматической актрисе полезно будет взглянуть! Только, боюсь, никто из наших и репетировать не станет: выстроятся все у рампы и будут в ваши очи роковые смотреть!

– Ну вот, выдумаете ещё... – выпятила нижнюю губу Ляля. – Да на меня тогда Константин Сергеевич рассердится и прочь прогонит! И вам, Мишенька, тоже попадёт! Скажут: «Цыганок на репетиции, не спросясь, водит! Вертопрах несолидный! Не давать ему ролей!» Нет уж, я тихонечко, как мышка, на задние ряды присяду...

Они ещё долго прощались в прихожей. До Нины, убравшей со стола чашки, доносилось приглушённое Лялино воркование, поддразнивающий баритон Яншина, шелест плаща, шёпот, смех... Светлана давно спала в своей комнате: ей нужно было рано вставать на работу. Младшая дочь ещё стояла у окна, глядя в темноту двора.

– Что там такое, Маша?

– Ничего... – та не обернулась. – Я, мама, спать хочу.

Она ушла.

В прихожей хлопнула дверь. Ляля вернулась в комнату, сонно улыбаясь и встряхивая обеими руками распутившиеся волосы.

– Смеёшься, бессовестная? – с напускной суровостью спросила Нина. – Свела человека с ума – и смеётся! Лялька! Ну нельзя же так, право слово! На кого ты нашего Ваньку Лебедева бросаешь? Он по Москве носится злой, как мухобойкой прихлопнутый! Всем жалуется на тебя!

Ляля не ответила. Всё так же мягко улыбаясь, села на подоконник, подставила лицо ночному сквозняку. Густая тень от ресниц скользнула по её щеке.

– Яншина жена уже знает? – негромко спросила Нина.

– Ей знать пока что нечего, – Голос Ляли почти не изменился. Только тот, кто хорошо знал её, мог уловить эту чуть слышную недобрую ноту. – Но узнает. Узнает! И поймёт, каково это – людей мучить! Она подлая, эта Норка Полонская, понимаешь ли ты, Нина, – подлая! Не думай, я не потому говорю, что она ему жена... Но с двумя сразу – это как? Мужа мучить, любовника мучить, и самой собой, роковой женщиной, упиваться – это как?! Я, Нина, знаешь, тоже не святая! Но двух сразу изводить и ни одного не любить – это... это... – Ляля вдруг резко, по-площадному выругалась, блеснув глазами. Порывисто отвернулась к окну.

– Нора говорила, что очень любила Маяковского, – осторожно возразила Нина. – Когда мы с ней виделись в последний раз, она так плакала...

– Ещё бы она не плакала, змеюка! – сквозь зубы сказала Ляля. – Такой карась с уды сорвался! Нинка! Ну подумай ты сама! Разве можно от человека уходить, когда он на краю стоит? Разве можно его бросать, когда он застрелиться обещает? Разве можно в беде, в тоске одного оставлять?! Этак и от нелюбимого не убежишь, пожалеешь дурака... а если любишь?!. Как она смогла тогда его бросить, скажи мне – как?! На репетицию ей, вишь ли, надо было, опоздать боялась... Нет, Нина, ты не думай, это не ревность! Просто так мне эта Норка противна, что лягушку легче съесть, чем на её рожу наглуго глядеть! И по Яншину моему она тоже в досталь ногами нагулялась, уж поверь мне, я знаю! Никого, кроме себя, она в жизни не любила! Таланта у неё такого нет и не было!

Нина промолчала. Ляля, спрыгнув с подоконника, порывисто прошлась по комнате. Остановилась перед старым портретом, висящим на стене.

– Ах, какая она, твоя бабушка Настя... Она ведь лучше меня! Право!

Нина чуть не рассмеялась. Вслух же сказала:

– Да... такой, как моя бабка, свет больше не родил! Она, не поверишь, и сейчас красивая! Всю жизнь в кочевье прожила – а красота сохранилась! Если они с дедом в Москву приедут – я тебя к ним в табор сведу.

– Обещаешь всё только! – Глаза Ляли радостно засияли, из них разом пропала мрачная искра. – Ну, Ниночка, ну, в самом деле, ну отведи меня в табор, мне же для дела нужно! Второй год в театре таборных девок играю! А ничего про них не знаю и в глаза не видела! Ах, если б мне в таборе пожить можно было бы! Хоть недельку-другую...

– Как Пушкин? – с улыбкой спросила Нина, вешая на стену гитару и поправляя диванные подушки.

– Ай, Пушкин твой! Пушкин ничего в цыганах не понимал, одни глупости любовные в голове паслись! Вон Ваня в театре «Цыган» ставить собирается, а чего в них, в этих «Цыганах» цыганского-то, скажи мне? Что мужняя цыганка по кустам к любовнику лазит? Что другая цыганка дитё бросила и с другим уехала? Курам на смех...

– Не серди Бога, – усмехнулась Нина. – Не то опять будешь революционную цыганку играть и на кнутах с кулаком-вожаком драться! Мало тебе «Машкир яга²⁶»? Играй уж лучше Пушкина! Всё поумнее человек был, чем наши цыганские активисты распронародные... Лялька! Да ты же зеваешь так, что исподнее видать! Иди спать ложись, я тебе у Светланы постелю... Ляля, ну он же может и вовсе ночевать не приехать! У них работы столько, что... Хочешь, я сама с ним поговорю, когда появится?

Нина не договорила: из прихожей донёсся скрежет поворачиваемого ключа. Затем раздался негромкий, усталый голос:

– Нина, у тебя гости?

– Какие гости, Максим? Это просто Ляля наша зашла посидеть! – Нина, ободряюще кивнув подруге, вышла в прихожую, забрала у мужа фуражку. – Почему ты такой мокрый? Неужели с Лубянки пешком пришёл?

– Да я отпустил Приходько с машиной на углу, а такой ливень вдруг припустил! Вымок с ног до головы... Дай сюда! – Максим Наганов взял из рук жены свою отяжелевшую от воды фуражку и повесил на дверцу шкафа. – Отчего же вы не спите?

Нина запнулась, не зная, как лучше заговорить с мужем о том, ради чего подруга просидела у неё целый вечер. Но Ляля уже сама стояла на пороге комнаты – так и не надев туфли, с растрёпанной головой, бледная, решительная, тоненькая.

– Здравствуйте, Максим Егорович! – почти весело поздоровалась она, протягивая руку. – Уж простите, что так допоздна засиделась у вас! Всё болтаем с Ниной о театре...

– Доброй ночи, Ляля, – с улыбкой ответил Максим, пожимая протянутые ему хрупкие пальцы. – Извините, что так до сих пор и не зашёл ваш спектакль посмотреть. «Табор в поле», кажется?

– «Табор в степи», Максим Егорович. Приходите, в самом деле, пока с репертуара не сняли! Там и Нина наша играет, поёт, блеснит, как яхонт! – улыбнулась широко, словно на сцене, Ляля. – Да ведь шутите, всё равно не придёте... Вон – ночь на дворе, а вы только-только со службы прибыли! Вам и поспать некогда, не то что по театрам ходить!

– Максим, поужинаешь с нами? – торопливо спросила Нина. Но Ляля перебила её срывающимся от волнения голосом:

– Максим Егорович, я хотела бы с вами говорить! По важному делу!

– У вас ко мне дело, Ляля? – невозмутимо спросил он. – Тогда прошу в комнату. Нина, а ты?..

– Если можно, Нина тоже останется, – жарко попросила Ляля. – Она этого человека хорошо знает, не даст мне соврать!

– Что ж, прошу вас, – Максим шагнул в сторону, пропуская Лялю и жену в двери.

... Четверть часа спустя он ходил вдоль стены, оставляя мокрые следы на паркете и сжимая в углу губ потухшую папиросу. Нина, сидящая с ногами на диване, молча следила за мужем глазами, а Ляля, сжав руки у горла, жарко, сбивчиво убеждала:

– И ведь пустяк такой, что сказать стыдно! И анекдот-то глупый! Даже и не анекдот, а фраза одна! Четыре слова! Разве можно за такое порядочного человека в тюрьму забирать? С работы снимать?! Я ведь вас, Максим Егорович, не за жулика какого-нибудь прошу, не за врага, не за бандита! Я Петю Богданова с детских лет знаю! Он в одном дворе с нами жил, его жена со мной в школе училась, хорошей семьи девушка была! После революции Петька сразу в Красную армию подался, командиром вернулся! С ранением боевым! На заводе работал, потом – на стройке, там и в начальство вышел! Жена у него, дети, друзей полна Москва! Один только

²⁶ «Машкир яга» («Между огней») – пьеса цыганских драматургов А.В.Германо и И.И.Ром-Лебедева, поставленная на сцене театра «Ромэн» в 1931 году. В сильно политизированной пьесе демонстрируется "классовое расслоение" цыган в период гражданской войны.

грех за ним и есть – выпить любит, а как выпьет – глупости несёт! Вот и договорился, дурак! Вы поймите, Максим Егорович, Петьке просто позавидовал кто-то! Людей плохих много, да все, как на грех, грамотные стали! Взяли – и написали бумагу, что Петька что-то про советскую власть худое болтал! А такого быть вовсе не может, потому что...

– Ляля, – Максим сказал это негромко, даже не повернув головы, но Ляля мгновенно умолкла на полуслове. – Почему вы пришли с этим ко мне?

– А к кому же мне ещё идти было? – встрепелась она. – У меня других знакомых по вашему ведомству нет! И Нина мне подруга давняя... Куда же ещё бежать было, Максим Егорович?

– Ляля, пообещайте мне одну вещь.

– Ра... разумеется, – выговорила Ляля, бледнея так, что Нина встревоженно сжала её руку. – Какую же?

– Что, если ещё кто-нибудь из ваших друзей будет спяну молоть чепуху на людях, а потом его арестуют – вы пойдёте с этим только ко мне. Ко мне – и ни к кому иному! Даже если у вас появятся другие... знакомые по моему ведомству. Поклянитесь мне прямо сейчас!

– Ну конечно же, – с коротким вздохом пообещала Ляля. И, кинув быстрый, острый взгляд на Нину, умолкла.

– Кем вам приходится этот Пётр Богданов? Родственник, близкий друг?

– Да никем же, я говорю, не приходится! Оля, его жена, подруга мне! Бухгалтером на хлебозаводе служит, живём по соседству всю жизнь! Конечно же, она ко мне сразу прибежала, когда Петю взяли...

– А вы – ко мне.

– Неужели совсем-совсем ничего нельзя сделать? – шёпотом спросила Ляля, вскочив с дивана и встав прямо перед Нагановым – так, что он вынужден был остановиться тоже. – Неужто ничего? Максим Егорович, а? Ведь это же ошибка, ошибка! Не мог Петька Богданов ничего против власти... У вас папираса погасла!

– В самом деле... – Наганов выбросил за окно потухшую «казбечину». – Ляля, я, конечно, постараюсь выяснить, что там произошло. Но отвечать за результат никаким образом не могу. Вполне возможно, что...

– Спасибо вам, ой, спасибо, Максим Егорович, золотенький! – Лялины глаза засияли. – Несказанное вам спасибо! Ой, Оля обрадуется! Она уже с ног сбилась, по кабинетам бегая, – и отовсюду выкидывают! Её уже и с должности уволили! Уревелась вся, денег нет, соседи не здороваются, – а у них же с Петькой дети! Ой, да я же... Я прямо сейчас к ней побегу, обнадёжу!

– Не стоит, Ляля. Пока не в чем обнадёживать. Я же сказал, что ничего не могу обещать! – с досадой выговорил Наганов, поглядывая в тёмное окно. – И куда вы помчитесь среди ночи под дождём? Ведь уже второй час! Оставайтесь.

– Нет, нет... Я побегу... Спасибо, Максим Егорович!

– Ляля! Пойдите, я вас провожу хотя бы! Выдумали – ночью одной носиться по Москве!

– Да кому я нужна? Меня все знают! Никто не тронет, ей-богу! – Ляля уже лихорадочно натягивала ботинки в прихожей. Максим шагнул следом, подал ей пальто, сдёрнул с дверцы шкафа свой непромокающий плащ.

– Никуда вы одна не пойдёте. Вам, я знаю, на Страстной, доставлю до самых дверей. Скажите, Ляля... а что это был за анекдот?

Ботинки выпали из рук Ляли. Она медленно, держась за дверной косяк, выпрямилась. Впи-лась широко открытыми глазами в невозмутимое лицо человека в сером френче. Драматиче-ским шёпотом выговорила:

– Сверху – перья, снизу – страшно!

Наступила тишина. Наганов некоторое время ожидал продолжения. Затем, поняв, что его не последует, озадаченно пожал плечами:

– И... что же это значит?

– Это, Максим Егорович... Это... воробей... на крыше ГПУ... си... сидит...

Короткое молчание. Затем Наганов фыркнул. Посмотрел в бледное, запрокинутое, осунувшееся от напряжения лицо Ляли. Нахмурился – и вдруг рассмеялся в полный голос, уронив на пол плащ:

– Вот ведь идиоты... Воробей! Нина, ты слышала? Такого мне не рассказывали ещё!

Нина смогла лишь молча кивнуть.

Максим вернулся через час, когда Нина уже убрала со стола, расстелила постель и расчёсывала перед зеркалом волосы.

– Доставил? – не оборачиваясь, спросила она, заметив в дверном проёме фигуру мужа.

– Конечно, – Максим стянул через голову френч; оставшись в одной рубашке, сел на кровать за спиной Нины. – Она, знаешь, так перепугана была, что всю дорогу болтала без перерыва. Даже спела мне что-то!

– Спела? Ляля?! – усмехнулась Нина. – Она, знаешь, петь-то не любит. Считает, что голоса нет. Наверное, в самом деле сильно изнервничалась... Красивая наша Лялька, правда же? Яншин от неё совсем голову потерял. Сидели сегодня вместе у нас – так он просто глаз не мог от Ляли отвести!

– Да, красивая, – серьёзно согласился он. – Не как ты, конечно, но тоже очень...

– Максим, ну какой же ты глупый, право!.. – Нина, не выдержав, рассмеялась. Красота двадцатичетырёхлетней Ляли Чёрной гремела на всю Москву, и Нина знала, что, даже сбрось она сама с десятков лет, ей всё равно не быть такой же... но в голосе мужа была спокойная, усталая искренность. И неожиданно, непонятно от чего, словно в предчувствии беды, сжалось сердце. Испугавшись этого, Нина поспешно спросила первое, что пришло в голову:

– Ты Петьку Богданова вытащишь?

– Нина, сколько раз я тебе говорил, – ровно, не повысив голоса, отозвался Максим. – Не в моей власти «вытащить» кого-то или «не вытащить». Я, как ты знаешь, замначальника секретно-оперативного управления, а не адвокат.

– Так это же даже больше!..

– Нина! Я ведь ещё даже дела не видел! Что я могу пообещать? Завтра зайду в отдел, спрошу!

– Максим, ты имей в виду, что Ляля одну только правду говорила! – поспешно сказала Нина. – Я Петьку тоже знаю хорошо! Дурак дураком, но честный! А что цыган – нипочём и не догадаешься! И не мог он ничего против власти...

– Нина. Сейчас очень много врагов. – Максим сказал это негромко и очень спокойно. – Поверь – очень много. Поэтому и столько работы. Поэтому я... Впрочем, ты же всё понимаешь. И если не получится ничего сделать – значит...

– Я понимаю, – упавшим голосом отозвалась Нина. – Ей-богу, Максим, я всё понимаю. Но ты же знаешь наших! Сейчас ведь повсюду аресты, чистки эти все... Многих забирают... И все ко мне бегут! «Нина, помоги, у тебя муж – большой начальник, к самому Сталину вхож...»

– Что за чушь! – рассердился он. – Я вовсе не...

– Так разве цыганам объяснишь, Максим?! – шёпотом завопила Нина. – Ты не представляешь, сколько народу уже со мной не здороваются! Думают – могла помочь, а не помогла! Зазналась Нинка! Высоко взлетела, родня не нужна стала! Поди растолкуй им, что ты из гвоздей сделан! Или гвозди из тебя! Как там у Тихонова, забыла уже напрочь...

– Сама ты из гвоздей! – обиженно, как мальчик, отозвался он. – А цыгане твои – из дубовой колоды!

Нина, понимая, что муж полностью прав, только вздёрнула подбородок.

– Твоя родня из табора приедет в этом году? – вдруг спросил Максим. Нина пожала плечами.

– Вряд ли. Они все сейчас в колхозе под Смоленском, но... Почему ты спрашиваешь?

Муж не ответил. Нина не решилась переспросить. Наступила тишина, которую нарушал лишь шелест дождя за окном. Максим стянул рубаху, аккуратно повесил её на спинку стула. Подошёл к книжному шкафу, где за стеклом стояла старая-старая, потрескавшаяся фотографическая карточка, испачканная внизу рыжим потёком. На снимке смеялась, раскинув руки, Нина Молдаванская – солистка цыганского хора из петербургской Новой Деревни, юная, беспечная, красивая... Такой увидел её на вокзале, где цыганский хор пел для отбывающих на войну солдат, двадцатилетний пехотинец Максим. Такой она вошла в его сердце – и осталась там.

– Максим, я эту карточку, видит бог, выкину когда-нибудь, – сердито сказала Нина в спину мужу. – Посмотри, какая она страшная! Вся поломанная, истёртая, в крови... фу!

– Не дам, – не оглядываясь, сказал он. – Это же судьба моя.

– Максим! Да я же тут девчонка совсем! Уже не помню, когда такая была!

– Ты же и сейчас точно такая же, – пожал он плечами. Отошёл от шкафа. Сел на постель. Бережно взял в руки тяжёлый, тёплый ворох волос жены, коснулся её обнажённого плеча. Нина слегка повернула голову – и Максим замер.

– Ты... очень устала сегодня?

– Я думала, это ты устал, – Нина изо всех сил старалась не улыбаться. – Это ведь ты начальник большой! Ты на службе с утра до ночи и с ночи до утра! А я что – просто актриса... Репетиции, спектакли... Ничего утомительного!

– Ты шутишь?

– Бог мой, ну конечно же! – Нина, не выдержав, рассмеялась, повернулась к мужу – и он поймал её в объятия.

– Нина... Они, в твоём театре, поди, слепые все! Какая Ляля Чёрная? Какая Ляля может быть, когда ты есть?!

– Максим... боже мой... Ну что же ты такой бестолковый... – бормотала она, уткнувшись в его жёсткое, горячее плечо. – Что ты за чепуху несёшь...

– Ничего не бестолковый. Нина, я... Я же до сих пор поверить не могу! Понять не могу, зачем ты за меня пошла, если ты... Если ты – такая...

– Максим, замолчи... Дурак... Не понимаешь – так молчи... Стара я такие вещи объяснять!

– Нина, ты меня любишь? Ты хоть немного любишь меня?

– Товарищ Наганов! Ведите себя, как по должности положено! И не срамитесь перед законной супругой, как не стыдно!

– Я же не цыган, Нина, мне можно... – Сильные руки комкали её волосы, неумелые поцелуи обжигали кожу. Пальцы Нины скользили по затылку, по плечам, по спине мужа, без конца натываясь на шрамы, шрамы, шрамы... Штыковые – с царской войны... Сабельные – с гражданской... Пулевые, ножевые, рваные – «уголовное» наследие двадцатых, когда сотрудник ЧК Максим Наганов был грозой московских бандитов... Неровное пятно ожога на лопатке – горящий дом, из которого чекисты вместе с пожарными тащили задыхающихся в дыму беспризорников... Живого места не было на этом человеке!

– Никогда я, Нина, не поверю... Никогда не привыкну...

– Ну и болван! Молчи... Может, мне на пластинку... ах... записаться? Будешь... у себя на службе... граммофон заводить и слушать... Помнишь, романсик такой пошленький был? «Я вас люблю, вы мне поверьте, я буду вас любить до смерти...» Максим, ну что ты вытворяешь?! Оставь в покое мои волосы! Я же завтра их не расчесу!

– Я сам... Я сам их тебе расчесу... Клянусь... Нина, кроме тебя, никого у меня... никогда... и не нужно...

– Я знаю, знаю... Глупый какой... Эх, ты... А ещё начальник!

Незакрытое окно. Дождь. Шелест капель, отрывистый шёпот. Тихий, счастливый смех.

Через полчаса Максим спал мёртвым сном, лёжа ничком на постели и уткнувшись взъерошенной головой в плечо жены. Нина лежала, запрокинув одну руку за голову, сонно улыбалась, глядя в тёмный потолок. В окно тянуло сквозняком. По улице, мокро прошлестев шинами, проехала одинокая машина. Понимая, что скоро утро и надо поспать хоть немного (в одиннадцать – репетиция!), Нина лежала без сна – и думала, вновь и вновь вызывая в памяти тот голодный двадцатый год, когда она, Нина Молдавская, когда-то знаменитая на весь Петербург певица, прибыла в Москву – худая, остриженная после тифа, овдовевшая, с двумя прозрачными от голода дочерьми.

И сразу же её вызвали в ЧК! Дело об убийстве в цыганском доме на Живодёрке вёл следователь Максим Егорович Наганов. Довольно быстро выяснилось, что артистка Молдавская не имеет никакого отношения к тому, что произошло в доме её родителей вьюжной январской ночью. Но уехать из Москвы ей не позволили, предупредили, что она ещё будет вызвана, – и Нина осталась в родительском доме.

Очень скоро и цыгане, и сама Нина поняли, почему в Большой дом зачастил чекист Наганов. Перепуганная до смерти Нина готова уже была сбежать в табор! Она понимала, что находится в полной власти этого большого, немногословного человека с изуродованным шрамами лицом. И ничуть не была удивлена, когда однажды Максим сдержанно и спокойно объяснился ей в любви и сделал предложение. Предложение это Нина приняла лишь спустя год. Сидя на больничной койке рядом с умирающим от пулевого ранения Максимом, держа в дрожащих пальцах его горячую, сухую руку, Нина пообещала Богу: если Наганов выживет, она пойдёт за него.

Бог услышал. И месяц спустя, прямо из больницы, Нина с Нагановым отправились в ЗАГС. И за все двенадцать лет, что она прожила с Максимом, она ни разу не пожалела о сделанном.

Дочери Нины привыкли к отчиму быстро. Максим не пытался нарочито сдружиться с ними, не заискивал, не старался себя «поставить» и вообще, казалось, не обращал на девочек особого внимания. Но однажды вечером Нина, вернувшись со службы, услышала доносящееся из комнаты:

«Так вы, Максим Егорович, не считаете Маяковского великим поэтом? В самом деле?!»

Голос двенадцатилетней дочери звенел, как лист металла, из чего Нина поняла, что Светка зла до умопомрачения. Едва ступая на носках, она подошла к двери, прислушалась.

«Нет, Светлана, не считаю. Ни великим. Ни вовсе поэтом.»

«Ну, конечно! Вы имеете, безусловно, право судить! Вы окончили университет и...»

«Я и школы-то не окончил. Но судить о стихах может каждый, кто эти стихи читает. Разве не так?»

«Да?! Ну и судите на здоровье! Ничего не понимаете, а сами судите! Для вас «Облако в штанах» – не стихи? И «Нате»? Да вы хоть прочли у него это всё?! И...»

«Света, – Наганов ни на миг не повысил тона, но язвительный голос Светланы словно отрезало ножом. – Я, может, в самом деле безграмотный. И даже половины не читал из того, что ты знаешь. Но вот, к примеру, ежели человек может написать «Я люблю смотреть, как умирают дети...» – так он, по мне, больше и не человек. И поэтом никак называться не может.»

«Да... да разве Маяковский такое писал?!» – задыхнулась Светлана.

«Писал. В шестнадцатом году. И я тебе скажу – никогда он даже близко не видал, как дети умирают! Если бы хоть раз посмотрел... Если бы в Тамбове был во время голодухи... Или, как мы, беспризорников задохшихся из подвалов выносил. Из-под котлов замёрзшие трупы кайлом выбивал. Если бы он это видел – зарёкся бы такое писать! А просто так языком болтать, ради форса... не поэтское это дело, Света. Пушкин бы, я думаю, не стал этак... Но отчего же ты плачешь?.. Светлана!»

Послышался грохот. Нина едва успела отскочить: распахнувшаяся дверь чуть не ударила её по лицу. Светлана с закушенными губами, с бледным, залитым слезами лицом промчалась мимо матери.

Нина на цыпочках вошла в комнату. Максим, который собирал с пола рассыпавшиеся книги, поднялся ей навстречу. Поймав встревоженный взгляд жены, покраснел, виновато потёр кулаком лоб.

«Послушай, я... я что-то плохое ей сказал? Нина, я вовсе не хотел обидеть... Мы просто начали почему-то говорить про стихи и... вот.»

«Ты всё верно сказал. – Нина, скрывая смятение, нагнулась за упавшей книжкой. – Светка умная, она подумает – и всё поймёт. И не разобидится. Он ведь для неё царь и бог, Маяковский-то! А я вот его всю жизнь терпеть не могла! Воспитание, должно быть, не то: не понимаю, зачем вести себя, как хам трамвайный, и людей попусту оскорблять. Знаешь, чем меньше про этих поэтов знаешь – тем оно и лучше, вот что я тебе скажу!»

«Наверное... – Максим помолчал. Его огромная корявая ладонь, лежавшая на томике Маяковского, покрывала книжку почти целиком. – Скажи, а... Пушкин тоже... Он тоже что-то такое писал?»

«Пушкин? – Нина невольно улыбнулась. – Нет. Он молодым, правда, глупостей много писал, фривольностей... «Гаврилада» тебе случайно не попадалась? Но вот такого, как Маяковский... Нет, нет! Я бы тогда его и в руки взять не смогла! И романсов его не пела бы! А на Светку не сердись. Она просто такая... Вечно порохом вспыхивает, вся в меня! А потом посидит, подумает... и всё поймёт. Вы с ней ещё наспоритесь, вот увидишь!»

Так и вышло. Максим жадно, запойно читал всё, что попадалось ему под руку: книги из Нининой библиотеки, Светланины и Машкины учебники, газеты, журналы, стихи и научные статьи... Времени у него никогда не было, и много раз Нине приходилось вытаскивать книгу у мужа из-под руки, когда он засыпал прямо за столом. Зная о том, что Максим не имеет даже начального образования и мучительно жалеет об этом, Нина однажды осторожно предложила:

«Если хочешь, я могу читать тебе вслух. Это будет гораздо легче...»

Она даже не ожидала, что Максим так обрадуется.

«Но только каждый вечер, обязательно, Нина! Каждый вечер, только тогда будет толк! Если, конечно, я не на службе.»

Таких вечеров оказалось очень мало, но уж если они случались, Максим их не пропускал. Читала Нина хорошо: у неё была прекрасная дикция, в гимназии она всегда имела высший балл за декламацию. За десять лет они прочли всю русскую классику, Гюго, Золя, Дюма, Теккерей и Диккенса... И всего два или три раза Нина, подняв глаза от книги, видела, что муж спит – с серьёзным и внимательным выражением на лице.

«Почему ты меня не разбудила? – негодовал Максим наутро, собираясь в потёмках на службу. – В кои веки мог сидеть и слушать! Когда ещё так выдастся!»

«Максим, ну я же просто не могла! – оправдывалась Нина. – Ты и так не высыпаешься...»

«Нина! Я теперь невесть когда снова дома окажусь! Мне о делах надо думать, меня того гляди в Брянск в командировку отправят... А у меня теперь в голове один кузнец с чёртом крутятся! Ну ты мне хоть скажи: он достанет эти чёртовы черевики? Оксана за него выйдет?»

«Выйдет! И безо всяких черевиков! – смеясь, обещала Нина. – Как мы все, дуры, за вас выходим! Ступай, с богом! Вернёшься – я тебе ещё не то прочту! Я во дворе, в куче хлама, не поверишь, два номера дореволюционной «Нивы» нашла!»

Максим улыбался, целовал её, натягивал шинель – и выходил в ночь.

Нина до сих пор не знала, добивался ли муж у начальства этой квартиры в новом доме, или же начальство озаботилось само. Зная Максима, Нина с уверенностью могла предполагать, что тому и в голову не пришло пойти и попросить для себя хоть чего-нибудь – повышения в должности, жилплощади, машины, прибавки жалованья... Десять лет они прожили вчетве-

ром в одной комнате в «петуховке» – и Нина ничуть не сожалела об этих годах. Петуховцы жили шумно, крикливо, с оглушительными перебранками на кухне, с регулярными обещаниями «отравить проклятых бандитов» или «перерезать цыганское отродье» – смотря чьи дети хулиганили во дворе или дрались в общем коридоре. Нина давно привыкла к этому скандальному курятнику, привычно отругивалась от бабки Бабаниной, когда та звала её «кабацкой буржуйкой», легко могла огреть поленом по спине пьяного Никешку Охлопкина, когда тот, напившись, ломился в её дверь, и всерьёз убеждала пролетарского поэта Ваньку Богоборцева, что ещё чуть-чуть – и он самого Демьяна Бедного за пояс заткнёт. Разумеется, Нину с дочерьми в коммуналке никто всерьёз не обижал: чекиста Наганова до смерти боялась вся развесёлая петуховская братия.

Год назад Максим, придя домой, чуть ли не смущённо сказал:

«Нина, мне тут отдельную квартиру дают. Совсем близко, в голубом доме. Вон, в окно его видать! На первом этаже, как ты мечтала. Ты ведь согласна, да?»

«Напротив? Первый этаж?..» – оторопело спросила Нина, выглянув в окно. Новый двухэтажный дом, который выстроили на месте петуховских лабазов, почти полностью разобранных на дрова в восемнадцатом году, смотрел на неё большими и чистыми стёклами окон и, казалось, посмеивался над её растерянностью.

«А вверху кто же?..»

«Какой-то артист с семейством. Возможно, шумно будет, но у нас тут...»

«А у нас будто бы тихо! – Нина, взвизгнув от радости, с размаху кинулась на шею мужу. – Господи! Максим! Неужели правда? Как же я рада! У девочек наконец-то комната будет, и у нас с тобой тоже! Боже мой, там что – и кухня отдельная?!»

«Да... Я думаю, да. Я позабыл спросить. – По лицу Максима было видно, что он не просто забыл, а ему даже в голову не пришло поинтересоваться этим. – Нина, но отчего же ты раньше никогда не говорила?.. Может быть, я смог бы...»

Нина только всплеснула руками. И буйно расхохоталась, повалившись навзничь на старую кровать с железными шарами – своё единственное приданое, вывезенное в голодном двадцать первом году из цыганского дома на Живодёрке. Максим в конце концов тоже улыбнулся, сел рядом на кровать и обнял жену.

...Дождь за окном перестал. Но тучи не ушли, и предрассветная темнота казалась плотной, глухой. Нина осторожно, стараясь не скрипнуть пружинами кровати, повернулась на бок – и Максим рядом сразу же шевельнулся.

– Нина... – позвал он. И тут же, не открывая глаз, ещё полностью находясь во власти какого-то тревожного сна, приказал, – Не стой на сквозняке! Ты простудишь голос!

– Не буду, – пообещала она. Дождалась, пока Максим уткнётся в её шею, зарывшись лицом в рассыпавшиеся волосы, обняла его, тихонько погладила по голове. И через минуту уже спала сама: спокойно и глубоко.

На рассвете Машка вдруг подскочила в постели как ошпаренная. И села торчком, ошалело тараща глаза в тёмную стену. Затем спрыгнула с кровати, забегала по комнате в поисках одежды, натываясь спросонья то на угол стола, то на табуретку. Сандалет она так и не нашла (те предательски затаились где-то под кроватью) и вынеслась из квартиры босиком.

Стояло холодное, сырое утро. Солнце только-только поднялось над Москвой-рекой, и в зелёном, мокром от ночного дождя дворе было ещё сумрачно. Ёжась и подпрыгивая, Машка перебежала двор, свернула за угол спящей «петуховки». Обхватив себя руками, огляделась. Подумала, сощурившись и закусив губу. И решительно зашагала к дровяному сараю.

Как она и думала, тяжёлая, замшелая дверь оказалась приоткрытой. Машка дёрнула её на себя, поморщилась от скрипа, показавшегося оглушительным в ранней тишине. Встала на пороге и, заглянув в темноту, пронизанную голубыми лучиками света, сипло велела:

– Мотька! Ирод! Вылезай, контра недобитая!

С минуту в сарае было тихо. Затем послышалась сонная ругань. С глухим стуком посыпались на землю поленья. Из потёмков, волоча за собой измятый пиджак и вещмешок, выбрался на свет смуглый черноволосый парень лет двадцати – тот самый, который смотрел вчера на Машку от ворот. Он сощурился, потянулся, зевнул. Стряхнув со встрепанных кудрявых волос древесную труху, сонно улыбнулся – и чуть не упал, когда Машка с приглушённым визгом повисла у него на шее.

– Мотька! Ну вот кто ты после этого, змей проклятуший? Кто, скажи мне, а?! Как только совести хватило?! Шесть лет! А я полночи башку ломала: кто это, кто, кто... Ну, погоди, мать тебе задаст! Марш домой, уютское отродье!

– Ну и откуда я знать мог, тётя Нин? – оправдывался Матвей, сидя за столом перед огромной миской пшённой каши и смущённо кося чёрным бандитским глазом то на Нину, торопливо нарезавшую хлеб, то на Светлану, которая, спеша на работу, не глядя бросала в сумку тетради и с улыбкой смотрела на нежданного гостя, то на Машку, которая сидела напротив и, навалившись грудью на край стола, поела парня глазами.

– Ничего я знать не мог... В Москве проездом, случайно... Мимо вот проходил... Дай, думаю, загляну в «петуховку» по старой памяти. Во дворе мне пацаны говорят – съехали Нагановы в дом напротив! Смотрю на окна – у вас свет горит, пляшут, поют... Думаю, гости у людей, чего соваться? Думал – утром приду... Тётя Нина, да куда ж вы столько хлеба кладёте: у меня брюхо по шву лопнет! Вам самим, что ли, не надо?

– Ешь, ешь... – Нина погладила парня по сильному, костлявому плечу. – Ешь, сколько влезет... Босота ланжеронская!

Максима уже не было. Полчаса назад, выйдя из ванной с полотенцем на шее и увидев стоящего посреди комнаты растерянного парня, вокруг которого, причитая и кудахча, носились жена и дочери, он сначала нахмурился. Затем улыбнулся. Неловко вытер намыленную щёку полотенцем и без особого удивления, словно они с гостем виделись последний раз неделю назад, спросил:

– Тебя где носило, Матвей?

– Да всюду понемножку, Максим Егорыч... Вот, прибыл навестить...

– Проездом, стало быть?

– Угу... В лётную школу от колонии бумагу дали. Подумал, может...

Договорить Матвей не сумел, потому что Наганов, подойдя, решительно и крепко обнял его. Просто сказал:

– Молодец, что приехал! Садись за стол, Нина тебя накормит. А я вечером приду, обо всём поговорим.

– И ведь всё врёт! – возопила Машка, как только за отчимом захлопнулась дверь. – Всё он врёт, мама! Ничего он не зашёл бы! Я его увидела вчера, когда за кошкой на дер... когда из школы пришла, вот! Он в воротах стоял! Прямо на меня смотрел! Глаза в глаза смотрел! И не поздоровался даже, босяк! А если бы я под утро вдруг не вспомнила? И не побежала? И не вытащила тебя?! А?! Что бы тогда было, отвечай?! Так бы и ушёл?!

– Маш, да я тебя и не вспомнил даже! – прижал кулак к груди Матвей. – Ей-богу, не вспомнил! Ты же ж пигалица была вовсе! Шесть же ж лет прошло же!

Машка в ответ только свирепо засопела. Влезла в сандалеты, схватила сумку и, бросив: «Я после школы в цирковое, до вечера не ждите!» – выскочила за порог. Следом за ней ушла и Светлана. Нина осталась с неожиданным гостем наедине.

– Доедай, а потом помоешься. У тебя бельё чистое есть, или поискать у Максима?

– Всё есть, тётя Нина... Не бегайте вы, как кура без башки! – грубовато отозвался он. – Сядьте уже! И так вон какого мельтешенья наделал! Вы теперь, что ль, опять артистка?

– Кто тебе успел рассказать? – рассмеялась Нина, садясь за стол напротив парня и с радостным изумлением глядя в его тёмное, почти коричневое, скуластое и большеперотое лицо с такими цыганскими, ярко-чёрными, как растопленная смола, глазами...

– Да ещё б не рассказали! – хохотнул Матвей. – Я вчера во дворе с пацанвой потолковал, так всё мне по списку про вас доложили! И что Максим Егорыч теперь – начальство, и что вы – артистка в театре, что Светланка – учительница... вот ведь страсть-то! Так я и чуял, что добром эти её книжки не кончатся! А Марья... Марья-то вон какая сделалась! Я ж не брешу, я и впрямь её не узнал!

– Бандитка завзятая она сделалась! – мрачно сказала Нина. – Шестнадцать лет, а всё, как мальчишка, – по заборам и по крышам! В цирк, видишь ли, собралась, под куполом вниз головой болтаться!

– Так, может, оно и ничего, тёть Нин?... Цирк-то? Весёлое дело, козырно...

– Что «весёлое дело»? Шею свернуть?! Куда как весело! Ну, знаешь, Матвей, тебя мне только не хватало! – рассердилась Нина. – Мало мне Максима: всё ей с рук спускает, ещё и восхищается! Вот, ей-богу, если ты при Машке хоть раз скажешь, что цирк – это козырно, то я...

– Да не буду, что вы, ей-богу... Мне ещё пожить хотца! – успокоил Матвей, поблёскивая шальными глазами. – Ну, стало быть... всё у вас в порядке. Так я не буду ночи ждать! Прямо сейчас на вокзал да и...

– Почему ты ушёл? – в лоб спросила Нина, садясь напротив. – Скажи мне, ради бога, мальчик, – почему ты тогда ушёл?! Мы обегали всю Москву! Максим со своими чекистами тоже с ног сбился! Всюду искали! Мы думали – тебя давно в живых нет, а ты... Что стряслось тогда, что случилось?

Матвей хмыкнул было – но ухмылка сразу же сбежала с его лица, когда Нина взяла его за руку. Губы парня дрогнули, взгляд метнулся в сторону. Неловко взъерошив свободной ладонью волосы, он вздохнул. Пожал плечами. Уставился вниз, на свои разбитые ботинки.

Осень 1926 года выдалась ветреной и дождливой. Лили дожди, улицы Москвы были покрыты раскисшей грязью, в которой тонули боты и калоши. Небо обложилось свинцовой хмарью. По утрам уже случались заморозки, ненадолго схватывая грязь ледяными прожилками, – но к полудню снова всё расплзлось, небо сыпало дождём вперемежку со снегом, сырость заползала за воротники, и хотелось не выходить из дома до конца света – или, по крайней мере, до зимы.

Трясаясь в сыром, переполненном трамвае, громыхавшем вниз по Солянке, Нина страстно мечтала оказаться дома. Пусть даже в «пегуховке» снова скандал, пусть пьяный Охлопкин бегаёт за женой с утюгом, а у самогонщицы Любани гуляет блатная компания с Сухаревки... Сегодня она, Нина, даже этого не заметит. Тенью проскользнёт в свою комнату, снимет мокрые ботинки, повесит сушиться пальто. Затопит печь. Принесёт из кухни горячий чайник, порежет хлеб, достанет уцелевшую банку прошлогоднего варенья. Если на кухне всё спокойно, то на ужин можно будет сварить картошки. И – уснуть на кровати, накрывшись старой шалью, под монотонное бормотание Светланы, зубрящей грамматику...

Но этим сладостным мечтам не суждено было сбыться. Едва свернув с Солянки во двор, Нина увидела стоящую у подъезда машину мужа. Сердце словно окатило ледяной водой: никогда ещё Максим не возвращался домой так рано.

«Ранен! Нет, тогда бы повезли не домой, а в больницу... Срочная командировка?... Девочки! Что-то с ними!!! Дэвлалэ!»

На чужих ногах она промчалась через чёрный подъезд, взлетела по лестнице, задыхаясь, ворвалась в квартиру. Почему-то страшно воняло гарью, но задумываться об этом было некогда. Нина даже не заметила того, что «петуховка» подозрительно тиха сегодня: все двери захлопнуты, никто не раскочегаривает примус и не гремит корытами в кухне. Только в их комнату дверь была распахнута настежь, и, подбежав, Нина сразу же услышала озабоченный голос мужа:

– Нет, Света, сядь подальше: у него там вши дивизиями маршируют! Ещё не хватало потом остричь твои косы! Положи на подушку. Чёрт, ведь и подушка обовшивеет... Маша, сбегай к Иде Карловне, у неё есть градусник! Хотя и так понятно, что... Приходько, не путайся под ногами, марш на службу, я вернусь сам!

Дослушать Нина не успела, потому что прямо на неё из комнаты вынеслась взбудораженная младшая дочь:

– Мама!!! О-о, слава богу! Давай скорей сюда! Дядя Максим беспризорника принёс!

В первую минуту Нина испытала оглушительное облегчение: все живы, здоровы, никакой беды... Вслед за дочерью из комнаты со смущённой физиономией выбрался шофёр мужа Федька Приходько, всегда робевший перед женой своего начальника.

– Нина Яковлевна, вы извините пока что... Я говорил, что в больницу шкета надо, так нешто Максим Егорыч слухать будет?.. Велел сюда везти этот вшивый трест, и точка без разговоров!

– Какие пустяки, Фёдор... – машинально отозвалась Нина, не замечая, что Приходько с неумелой галантностью помогает ей избавиться от пальто. – Максим! Максим! Что случилось, кто это?

Муж, стоявший у кровати, повернулся к ней. В руках у него была какая-то лохматая тряпка.

– Нина, вот... Я подумал – этот пацан из ваших. Подумал – лучше принести к тебе...

Нина шагнула к кровати. Там, на наспех расстеленной овчинной шубе деда Бабанина, лежал чудовищно худой, чёрный от грязи и копоти мальчишка. Не вид он казался ровесником Светки. То, что держал в руках муж и что показалось Нине тряпкой, было обгорелой кавалерийской шинелью с обрезанным подолом. Подумав, Максим подошёл к печке и запихал шинель прямо в топку.

– Там всё равно одни вши...

Мальчишка не протестовал: он лежал запрокинув голову и хрипло, тяжело дышал. Сидящая рядом Светлана, морщась от жалости, держала на коленях его голову. Едва взглянув, Нина сразу же поняла, что перед ней – цыганёнок. Ни у кого больше не могло быть такой смуглой до сизого отлива кожи, таких иссиня-чёрных, слипшихся от грязи и крови волос, таких широких бровей, почти сросшихся на переносице и длинными крыльями разлетающихся к вискам.

«Какой красивый мальчик... И правда, совершенно цыганская физиономия! Господи, как же так? Таборный? Так почему же он не со своими? Что цыганский мальчишка делает у беспризорников?!»

– Сегодня горел дом на Малой Ордынке, и они выскакивали из подвалов, как черти, – словно прочитав её мысли, отозвался муж. – Нас вызвали вместе с пожарными. Кое-кого успели поймать, загрузили в фургон... Уже собирались уезжать – а один шкетёнок меня за рукав дергает и говорит: «Начальник, Мотьку Цыгана в подвале забыли, хворый он!»

– И ты, конечно же, туда полез!!!

– Конечно! – слегка удивлённо подтвердил Максим. – И между прочим, очень вовремя успел. Только выволоч пацана – сразу же крыша рухнула! Немного обжёгся – но это искрами, ничего серьёзного...

Нина молча зажмурилась. Светка смотрела на отчима с немым восхищением. Приходько, застывший в дверях, крикнул с непонятной интонацией.

– И вот, я подумал: лучше, наверное, сюда... Может быть, ты его знаешь?

– Максим! Я же не могу знать всех цыган на свете! Неизвестно даже, из каких он... Чаворо, конэско ту сан²⁷?

Ответа не последовало. Наклонившись к подушке, Нина повторила вопрос.

– Да вашу же ж мать... – чуть слышно раздалось в ответ. – Умучился повторять... Я не цыган, мадам... Ни в каком месте и ни разу... Вот чтоб с места не...

Не договорив, мальчишка откинул голову. Горло его судорожно дёрнулось.

– Господи, Максим! Ну какие сейчас могут быть допросы! Он же горячий, как печка! – Нина положила ладонь на лоб пацана – и сразу же отдёрнула её. – Ужас... Фёдор! Поезжайте за врачом, нужно в первую очередь узнать – не тиф ли... Нет, я сама сначала посмотрю!

– Может, всё же в больницу? – напряжённо спросил Максим, глядя на то, как Нина, вооружившись ножницами, ловко вспарывает истлевшую рубаху мальчишки и исследует его под мышками и в сгибах локтей.

– Нет... нет, думаю, не тиф. Ничего, кроме коросты. Но врач всё равно нужен! Приходько, поезжайте к профессору Марежину, скажите – артистка Нина Молдаванская покорно просит приехать... Максим, не спорь: в больнице его просто уморят!

По лицу мужа было видно, что у него и в мыслях не было спорить. Нина продолжала командовать:

– Света, не вставай, ему у тебя удобнее! Смотри только, чтобы в самом деле вшей не напоззло! Юбку выкинешь потом... Маша, дай градусник! Рубаху и всё остальное – сжечь... Дэвла, у него ожоги какие! Вот... и вот... прямо до пузырей! Фёдор, ну что же вы стоите столбом?!

– Прикажете выполнять, Максим Егорыч?

– Выполняй, Приходько, и поживей. Нина, но он такой грязный...

– Ничего не поделаешь, пока так полежит. Надо достать водки, обтереть его. Максим, сходи к Любане, у неё всегда есть. Иди-иди, она тебя до смерти боится! Всё отдаст! А керосин на кухне... Светка, да не вертись ты, ему же неудобно!

Тифа у мальчишки, к счастью, не оказалось. Профессор Марежин, которого Приходько привёз через час, тщательно обследовал беспризорника, обнаружил запущенный плеврит, коросту, конъюнктивит, чесотку («Светка, боже, отойди от него немедленно!») и несметные колонии насекомых. Выписав лекарства, профессор ещё некоторое время осведомлялся у Нины о здоровье её родственников (Марежин был страстным поклонником цыганского пения). Затем, попросив посылать за ним в случае необходимости, отбыл.

Четыре дня Мотька был совсем плох. Ожоги, которые Нина смазывала лампадным маслом бабки Бабаниной, кое-как заживали, но жар почти не падал. Мальчишка метался в бреду, мотал по подушке встрёпанной, воняющей керосином головой (вшей решительная Светка извела сразу же), бормотал сквозь оскаленные зубы страшные ругательства. По ночам Нина со старшей дочерью сторожили Мотьку посменно. Утром больного приходилось бросать на Светлану, и Нина целый день тряслась на службе, боясь того, что Мотька умрёт на руках у дочерей. Но пацан оказался живучим, как блоха. К вечеру пятого дня он, позволив залить в себя ложку лекарства, вдруг крепко уснул – и ни разу за ночь даже не пошевелился. Нина, которая всю ночь просидела возле него, опасаясь самого худшего, к утру чувствовала себя совершенно разбитой. Кое-как собравшись с силами, она протянула руку, пощупала Мотькин лоб – и вздрогнула от неожиданности. Лоб пацана был влажный от пота, но – едва тёплый. Кризис миновал.

Мотька выздоравливал быстро. Нина, продав знакомой артистке старинное гранатовое кольцо – подарок таборной бабки, купила на Болотном рынке курицу и три дня варила из неё прозрачный, свежайший, благоухающий бульон. Светка и Машка благородно отказывались его

²⁷ Сынок, из каких ты (цыган)?

пить, и весь бульон доставался Мотьке. Тот выхлёбывал его жадно, как холодную воду в жаркий день, ел чёрный хлеб, пил чай с сахаром, хрипло, смущённо говорил: «Благодарствую, мадам, на вашем неоставлении...» – и уверенно шёл на поправку.

– Так ты в самом деле не цыган? – спросила Нина в то утро, когда первый снег, кружась за окном, ложился между сараями, липами и поленницами, покрывая петуховский двор чистой скатертью. Нина стояла, опершись обеими руками о подоконник, и смотрела на мельтешение белых мух. Дочери были в школе. Мотька сидел в постели, худой до прозрачности, чёрный как сапог, и аккуратно, подставив ладонь под крошки, уминал горбушку. В печке потрескивали дрова, веяло теплом. На столе дожидался горячий чайник и завернутые в бумагу полфунта ситного.

– Я сначала подумала, что ты боишься это сказать. Но ты же видишь, я сама – цыганка, девочки мои – тоже. Неужели ты не...

– Ну ей-богу же, нет, мадам! – уныло сказал Мотька, и было видно, что на этот вопрос он отвечал множество раз. – Я с Одессы, с Николаевского приюта! Кто меня мамане сработал – никакого понятия не имею... Может, и ваш какой-то постарался! Маманя у меня весёлая дама была, так что всё очень даже может быть...

– Так у тебя есть мать? Отчего же тогда – приют?..

– Ну так надо же было что-то шамать, когда четыре власти пилят город на части! Маманя сказала: шлёпай, Мотька, до приюта, там харчи и не стреляют, назовись сиротой. Я и пошлёпал! Мамане-то со мной тогда вовсе некогда было: как раз французы подошли, было чем заняться...

– Сколько тебе тогда было лет?

– Тью! Может, пять, а может, семь... Не вспомнить так сразу-то! Мамани я больше не видал, соседи после сказали – солдатня пьяная зарезала... Потом Гришин-Алмазов пришёл, потом я за Японцем на Петлюру увязался, потом с Петлюрой же от Котовского тикал, потом – с Котовским от Деникина... Много чего было! Год назад в Москву приехал, думал подкормиться – а тут ещё хуже, чем на Полтавщине! Ну да ничего, мы народ привычный...

– Чуть не помер, «привычный»... – проворчала Нина, чувствуя, как сжимается комок в горле.

– Мне весьма неловко, что я вас так свински обожрал, – церемонно сообщил Мотька. – Времена сейчас собачьи, и хлеба на своих-то не доищешься. Так что позвольте мой клифт, и я освобожу эти апартаменты...

– Твой «клифт» пришлось сжечь, – сообщила Нина, и Мотька тут же скис.

– Это мне будет в некотором виде затруднительно...

– ...и никуда идти тебе не надо. Разве ты не видишь? – зима на улице! А ты едва-едва выбрался из плеврита.

– Мадам, – подумав, с наисерьёзнейшей рожей сказал Мотька. – Я, ей-богу же, не цыган! Вот хоть что вам на том поцелую: хоть крест, хоть красную звезду! Я ни с какого боку вам не родня. Странно, что вы супруга оставили живым, когда он притащил вам за один раз столько радости... Что характерно – вшивой, горелой и вонючей!

Нина из последних сил прятала улыбку. Мальчишка с его корявым, уморительно неправильным, изысканно-босаяцким языком был невероятно забавен. И – сжималось сердце от этой чудовищной худобы, торчащих скул, провалившихся глаз, сияющих, тем не менее, непобедимой лукавой искрой.

– Вот что, вшивая радость... Перестань, во-первых, звать меня «мадам». Говори – тётя Нина. Во-вторых, ты остаёшься здесь, пока не встанешь на ноги, – а дальше будет видно. В-третьих, тебе пора спать, хватит мести языком. Проснёшься – поешь ещё: я тебе кашу на молоке сварю.

Мотька задумался. Затем недоверчиво улыбнулся. Пожал острыми плечами. Проворчал: «Каким только местом думает эта интеллигенция?..», откинулся на подушку, сунул в рот

последний кусок хлеба – и через мгновение уже спал, умиротворённо посапывая, похожий с мякишем за щекой на исхудалого суслика.

Мотья остался в «петуховке»: никто против этого не возражал. Дочери Нины относились к больному очень нежно, и даже ершистая Светланка нет-нет да и подсаживалась к постели погладить Мотью по лохматой голове. Тот, заливаясь смуглой краской, ворчал: «Светка, это буржуйские пережитки, я ж не кошка...», но было видно, что ласка ему приятна. Машка же, тогда ещё девятилетняя малявка, вообще была готова часами сидеть на полочке возле кровати и слушать полные лихости и вранья рассказы Матвея о «волюшке». Нина, опасавшаяся, что её своенравные дочери не примут внезапно свалившегося им на головы беспризорника, вздыхала с облегчением. Она сама не ожидала, что ей так быстро прикипит к сердцу этот худой, ехидный, всегда ухмыляющийся пацан с невозможно цыганской физиономией. И даже мужу Нина почему-то не могла признаться в том, что Мотья напоминает ей сына, в девятнадцатом году умершего от тифа на больничной койке, в голодном ледяном Петрограде.

«Тебе нравится этот шкет? – осторожно спросил как-то Максим. – Я боялся, ты ругать меня будешь. Что, вот, приволок с улицы невесть кого... Их же сейчас пол-Москвы таких!»

«Но ты же, надеюсь, не приведёшь сюда пол-Москвы? – улыбнулась Нина. – Нас и так теперь пятеро в комнате. Бабанины уже бурчат, что я своих цыган со всего города собираю...»

«Я зайду к ним, объясню ситуацию.»

После этого «объяснения» Бабанины неделю боялись показаться на общей кухне, и больше никто из соседей вопросов насчёт «цыганёнка» не задавал.

Выздоровев, Мотья бесстрашно выскакивал во двор в обрезанных Нининых валенках, лихо колол дрова, волок их наверх, топил печь, затем хватал жестяное ведро и, громыхая им, нёсся к колодцу. Натаскав воды, ловко, с приютской ухваткой, мыл полы, чистил снегом дряхлые половики, а однажды угольным утюгом прекрасно отгладил кучу стиранных рубаш, до которых у Нины целую неделю не доходили руки. Только в школу определяться Мотья напрочь отказывался, уверяя, что сидеть полдня взаперти могут только круглые идиоты. Нине пришлось воззвать к мужу, – и Максима Мотья с неохотой послушался:

– Ну ладно... Если Максим Егорович так настаивают... Оно, конечно, тоска купоросная, но хоть покормят в той школе, и то хлеб!

Ученье к Мотье не липло, хоть плачь! Светке стоило огромных усилий заставить «брата» открыть учебник и написать в тетради хоть несколько строк. Сама Светлана к тринадцати годам сильно вытянулась, построинела, построжела, перестала задиаться с уличными мальчишками и уверенно говорила, что после семилетки поступит в техникум «на учительницу». Свой педагогический талант она начала оттачивать на Мотье:

– Ты откроешь, наконец, учебник? Что вам задано? Нет, дай сюда, я сама посмотрю... Что значит «опять ничего»? «Опять ничего» было вчера – а оказалось, что задали три задачи и восемь примеров! И ни одного ты не решил! Мне сегодня на тебя жаловалась Марья Фомишна!

– Ой! Уй! Маты ж моя! Уже и настучала, кочерга старая! С чего?!

– С того, что ты на уроках вместо того, чтобы учиться, веселишь глупостями других!

– Должен же кто-то людям настроение поднимать...

– Настроение?! В школе учатся...

– ... одни дураки!

– Ну, теперь же хоть один умный там завёлся, полегче будет! – язвила Светлана, которая тоже никогда не лезла за словом в карман. Сестринским подзатыльником она загоняла ворчащего Мотью за стол. – Садись! Открывай! Читай, бестолочь, – от сих и до сих! И я не отойду от тебя, пока не прочтёшь!

– Вот пусть кто-нибудь сюда придёт!... Вот пусть кто-нибудь заглянет!.. И скажет, что вот это вот всё – не царская каторга с кандалами! – бурчал Мотья, с ненавистью паля глазами

параграф истории. – Пусть кто-то это мне в глаза скажет – и я ему в морду плюну! И пусть потом мучается ночами – был у меня сифилис или нет...

– Мотька!!! Здесь ребёнок!!!

– Молчу, молчу... Деспотиня ты, Светка, и мучительница...

– А ты – болван!

«Ребёнок» – Машка – между тем вздыхал за другим концом стола, усаженный грозной сестрицей за арифметику. Мотька подмигивал ей через стол бедовым чёрным глазом:

– Держись, Марья: с нами бог! Вот отстреляемся – я тебя научу одной подсечке... У китайчонка в Первой Конной перенял. Ни один Шкамарда к тебе на пистолетный выстрел не подойдёт! А потом за море расскажу, за Одессу, за Ланжерон... Вот будет весна – подадимся с тобой туда, ежели мать отпустит! Там, Машка, тепло, каштанчики зацветут, барабульку с камней ловить станем... Ты плавать-то умеешь? Что – нет?! Ну, интеллигенция же ж, господи... Ладно, выучу!

Машка доверчиво сияла от радости. Мотька лучезарно улыбался сердитой Светке – и покорно погружался в учебник.

Дрался он и в самом деле здорово. В первый же день выздоровления, когда Мотька, ещё прозрачный от слабости, выбрался во двор – в валенках на босу ногу, в старой шинели Максима внакидку, – его окружили дворовые пацаны.

– Глянь – цыган выгребает! Ещё один завёлся! – цыкнул зубом Володька Шкамарда. – Во поналезли, ворьё, в Москву! Куда ни плюнь – в чёрную морду попадёшь!

Мотька пожал плечами. Вытащил из-за уха окуроч, присел с ним на поленницу. Мирно спросил:

– Огонька-то, мужики, ни у кого не будет?

– Для конокрадов не держим! – загоготал Шкамарда. Мотька вздохнул. Обезоруживающе улыбнулся. Аккуратно убрал окуроч в полуоторванный карман. Поднялся, сбросил с плеч шинель, мечтательно посмотрел в хмурое небо – и одним страшным, точным ударом сбил Володьку на землю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.